

---

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### ОКОНЧАНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ИОАННОВНЫ

*Дела на окраинах. - Малороссия. - Оренбургская экспедиция и башкирский бунт. - Сибирь. - Опасности для западных окраин со стороны Швеции. - Отношения к Польше, Пруссии и Англии. - Французская политика относительно России. - Франция хочет пользоваться неудовольствием в России против правительства. - Причины неудовольствия. - Ссылки и казни. - Могущество Бирона. - Усобища между немцами. - Ягужинский, Волынский, Бестужев-Рюмин. - Болезнь императрицы. - Вопрос о регентстве. - Кончина Анны.*

Закрепление окраин составляет одну из самых видных черт правительственной деятельности в царствование Анны. Относительно Малороссии возвратились к системе Петра Великого: гетманство снова признано ненужным, и Малороссия как нераздельная часть России снова находится в ведении Сената, а не Иностранной коллегии. В 1731 году князь Шаховской был „отозван из Малороссии и на его место при гетмане Апостоле был назначен полковник Тургенев, но уже в следующем году он был сменен генерал-майором Семеном Нарышкиным. Князю Шаховскому поручено было устройство слободских полков, которые, по словам манифеста, обретались в беспорядке и в крайнее разорение приходили, так что многие, оставя воинскую службу и свои земли, принуждены были записываться за помещиков.

29 апреля 1733 года Нарышкин писал канцлеру Головкину, что накануне, в день коронации императрицы, был у гетмана обед, и хозяин не мог встать со стула; все подумали, что старик подгулял, но на другой день доктор объявил Нарышкину, что у гетмана паралич, левая рука и нога отнялись. 1 июня князь Шаховской писал самой государыне, что 26 мая он приехал в Глухов и был у гетмана, который очень болен, левою рукою не владеет и ногою, говорит, что кой-что чувствует, но нельзя думать, чтоб он говорил правду, мало надежды, что останется жив; никаких бумаг не подписывает, подписывает вместо него генеральный писарь Турковский, и оттого могут произойти беспорядки. Шаховской нашел в Глухове всю генеральную старшину, стал проведовать, зачем она собралась, и узнал, что старшина желает при жизни гетманской принять правление генеральной войсковой канцелярии, как было по смерти гетмана Скоропадского, когда правление осталось в руках генеральной старшины. "От этого правления, - писал Шаховской, - какие воспоследовали дела, о том вашему величеству известно". Шаховской узнал также, что гетман сам хотел отдать правление войсковою канцеляриею старшине без совета с Нарышкиным. Последний по совету с Шаховским 29 мая отправился к гетману с вопросом, для чего он это делает без совету с ним, следует ему требовать о том указу ее

величества, а до получения указа писарь должен о всех делах представлять ему, Нарышкину. Шаховской подтвердил гетману то же самое. Апостол отвечал, что он приказывал писарю докладывать о всех делах Нарышкину, говорил и другие слова, которых за слабостью понять было нельзя; и генеральный писарь Турковский тут же объявил, что гетман приказал ему написать письмо к генеральной старшине, чтоб она приняла правление войсковою канцеляриею, и письмо это было доставлено Нарышкину. 30 мая явились к Шаховскому некоторые из старшины, намерение управлять войсковою канцеляриею без указа императрицы оставили, а требовали совета, каким образом писать в Иностранную коллегия и просить указа. Шаховской отвечал, чтоб они просто просили указа, кому императрица прикажет ведать войсковую канцелярию, а до получения указа обо всех делах докладывали генералу Нарышкину, который и должен давать резолюции. Они согласились; черновая просьба об указе была написана и показана Нарышкину. Но 1 июня Турковский пришел к Нарышкину и объявил, что гетман этой просьбы писать не велел. "Не соизволите ли, ваше величество, - писал Шаховской, - указать от гетмана взять письменно, а генеральную старшину допросить, для чего они по совету генерала Нарышкина не делают, а делают по своим прихотям, и не соизволите ли, ваше величество, впредь до будущего указа для вышеписанных резонов приказать гетманскую канцелярию принять в управление генералу Нарышкину, чтоб старшина в то правление не вступала?" Шаховскому удалось достать копию с просьбы, которую уже заготовила старшина к императрице на случай смерти гетмана; здесь говорилось, что при смерти гетмана войсковая генеральная канцелярия осталась при генеральной старшине, которая спрашивала: нам ли, генеральной старшине, до избрания нового гетмана ведать правление всяких дел по совету с генералом Нарышкиным?

Между тем Шаховской получил письмо от кабинет-министров Остермана и Черкасского, в котором они требовали его мнения, как поступить в случае смерти Апостола. Шаховской отвечал, что как во время болезни гетмана, так и по смерти его правление войсковою канцеляриею поручить одному Нарышкину, потому что, раз допустивши старшину до правления, в случае неправильных их действий труднее будет их отставить. "В бытность мою здесь, - писал Шаховской, - хотя гетман и один был, однако некоторые дела, по представлениям моим, отправлялись медленно, тогда как одного человека легче склонить, чем восемь. О каких делах по пунктам велено гетману советоваться с старшиною и полковниками, по тем и генерал Нарышкин может призывать их в совет. О намерении ее величества, быть ли гетману или не быть, точно не известен, однако представляю слабое мое мнение: так как по пунктам гетмана Хмельницкого положено гетмана выбирать из настоящих козаков, а не из другого какого-нибудь народа, только эти пункты уже нарушены самими козаками: изменник Мазена и Скоропадский были из поляков, а нынешнего гетмана Апостола отец - волох, и если ее величество впредь гетману быть не изволит, то можно и еще многие резоны собрать. По моему слабому мнению, не соизволит ли ее

величество по смерти нынешнего гетмана определить одну персону, как теперь генерал Нарышкин, которого назвать наместником гетманства, чтоб он все войсковые и челобитческие дела отправлял на прежнем основании их малороссийских прав и обыкновений со всяким прилежанием, без медленности и волокиты, дабы весь малороссийский народ мог получать от него всякое удовольствие, чем бы час от часу, а не вдруг, и к прочим обычаям удобнее было их склонять по воле ее величества, а Чтоб ныне вдруг переменить и содержать их не по прежним правам, этого я не считаю полезным, ибо при гетманах они управлялись по своим правам, и потому подастся вид, что при гетмане бывало так, а теперь иначе".

12 июня отправлена была Нарышкину императорская грамота с приказанием тотчас войсковую генеральную канцелярию принять в свое ведомство, всякие малороссийские дела управлять по указу и смотреть, чтоб ничего в канцелярии не делалось без его ведома и приказа, особенно чтоб в полки никаких универсалов и писем не посылали. 10 июля отправлена к Нарышкину новая грамота: "Когда гетман Апостол умрет, тогда все правление Малороссии ведать вам с некоторым числом великороссийских персон да из малороссиян, из генеральной старшины и полковников такому же числу, сколько будет великороссиян, делать с общего согласия и совета, подписывать дела и указы всем, смотреть и предостерегать, чтоб ничего противного интересам нашим и народу малороссийскому тяжести не было. Определенному генеральному войсковому суду и подскарбиям войсковым для сборов быть прежним и на прежнем основании, как при гетмане было. Доходы, которые собирались гетману на булаву, на кухню и прочие, собирать по-прежнему определенным к тому особливым сборщикам, а из тех сборов надобно что-нибудь дать жене гетманской, пока она жива будет, а прочее, что останется, без указу нашего ни на какие расходы не держать. Впрочем, имеете вы нам донести и представить заблаговременно, кто достоин вместе с вами управлять из великороссиян и из малороссиян, о чем вы должны снестись с вашим генерал-лейтенантом князем Алексеем Шаховским, и каким порядком вести то правление для нашего интереса, для целости и благосостояния малороссийского народа. До смерти гетмана все это содержать вам в наивысшем секрете, чтоб, кроме вас, никто об этом не ведал".

Гетману стало лучше, и Нарышкин в конце года отправился в Петербург, как вдруг 15 января 1734 года гетману стало опять хуже, а 17 числа он умер. Находившиеся в Глухове великороссийские члены генерального суда полковники Радищев и Кишкин и подполковник Синявин в тот же день послали известие об этом в Петербург и получили в ответ, что князю Шаховскому велено немедленно ехать в Глухов и принять управление малороссийскими делами, а до его приезда они - Радищев, Кишкин и Синявин - вместе с судьями генерального суда должны отправлять все дела и смотреть накрепко, чтоб не произошло какого-нибудь смятения или других противностей, особенно смотреть за старшиною и за всем

малороссийским народом. 31 января отправлен был указ Шаховскому: "По уведомлении о смерти гетмана Апостола имели мы рассуждение, каким образом по известному вам нашему намерению в правлении малороссийском впредь поступать, и рассудили за благо учредить правление гетманского уряда, которому состоять из шести персон, и из великороссийских, во-первых, вам, а из малороссийских - обозному Лизогубу, и взять вам к тому правлению на время до указа нашего из тамошних офицеров двоих, а сюда прислать вам свое мнение, кого вы к тому правлению из великороссиян, кто б где ни был, за годного впредь быть усматриваете, а из малороссийских сверх обозного Лизогуба здесь сочлись достойными Андрей Марков да Иван Мануйлов, и если вы за ними ничего подозрительного и противного не знаете и считаете достойными, то извольте их назначить в правление с вами и до нашего указа. А что в объявительной нашей грамоте писано, что правление гетманского уряда определено до будущего избрания гетмана, и сие писано для того, чтоб ныне, в начале сего объявления, народ не имел в том сомнения и не делал противных толкований, а правлению гетманского уряда повелели мы быть под ведением нашего Сената в особливой конторе. Еще имеете доносить, как ведут себя в войсковом генеральном суде великороссийские судьи, и если, по вашему усмотрению, окажутся недостойны, то выберите других, ибо надобно таких людей в той суде Иметь, которые были бы правдивы, ко взяткам не лакомы, и не было б от них народу озлобления и обид, чтоб малороссийский народ правосудием великороссийских судей был доволен и привыкал к великороссийскому правлению, а смоленского шляхтича ротмистра Пассека отрешить, ибо ему в суде войсковом быть не годится". В том же месяце Шаховскому был послан секретнейший указ: "Уведомились мы, что смоленская шляхта с малороссийскими, жителями в свойство вступает, с обеих сторон сыновей женят и дочерей выдают. Это противно кажется нашему интересу, а гораздо приличнее и полезнее, чтоб малороссийский народ имел охоту вступать в свойство с нашим великороссийским народом, вследствие чего повелеваем вам, чтоб вы по вашему искусству секретно под рукою приложили особый труд отводить малороссиян от свойства с смольнянами, поляками и другими зарубежными жителями, а побуждать их искусным образом вступать в свойство с великороссиянами". По доношению войскового генерального суда велено было приступить к исправлению законов малороссийских: так называемые магдебургские и саксонские права перевести на великороссийский язык, сделать свод из трех прав и приложить особенное старание для объяснения сомнительных мест. Чтоб работа эта пошла скорее, велено было выбрать из малороссиян знатных особ, именно из каждой епархии по одному архимандриту или игумну, от Киево-Печерского монастыря соборного старца, из протопопов одного, из генеральной старшины одного, из полковников одного, из прочих чинов сколько надобно, чтоб всех было двенадцать человек, которые должны съехаться в Москву, сделать свод постановлений и что надобно сократить и прибавить в пользу малороссийского народа, и что к верному нам

подданству от одного народа приличествует". Выборы в эту комиссию должен был произвести князь Шаховской. Велено также сделать в Малороссии ревизию козакам, посполитым и *подсуседкам* козачьим, крестьянским и владельческим духовного и мирского чина, которые на их землях живут, и мастеровым всякого звания людям. Архиереям запрещено посвящать в попы и дьяконы из малороссийской старшины и козаков, также из старшинских и козачьих детей без аттестатов полковничья и полковой старшины, а знатных без позволения генеральной войсковой канцелярии, чтоб от этого уменьшения числа козаков не терпела служба. Архиереям запрещено также вступаться в гражданские дела и привлекать мирских людей к своим судам; запрещено за свои частные дела отлучать от входа в церкви и предавать клятве.

Когда старшине объявлена была воля императрицы о форме малороссийского управления, то Шаховской предложил им написать за это учреждение благодарственную челобитную государыне. Челобитная была написана, все приложили руки, но после этого генеральный судья Михайла Забела стал говорить Шаховскому, нельзя ли удержать челобитную до тех пор, пока съедутся в Глухове все полковники. "Дождаться полковников нет нужды, - отвечал Шаховской, - довольно и того, что вы, генеральная старшина, подписались с прочими". Но требование Забелы показалось подозрительно Шаховскому; он стал секретно провеживать, и прежде всего спросил у генерального писаря Турковского, что за причина требования Забелы? Тот отвечал: "Забела обиделся тем, что в челобитной подскарбий Андрей Марков подписался выше его". "Не хочет правды сказать", - подумал Шаховской и начал опять допытываться, нет ли другой причины, поважнее. Тогда Турковский сказал правду: говорил ему секретно генеральный судья Борозна, что в императрицыной грамоте новое управление назначено только до избрания нового гетмана и потому в благодарственной челобитной надобно было просить гетмана. "Кому они гетманом быть желают, - писал Шаховской, - того подлинно я знать не могу, а видно, что они гетмана желают".

Вследствие убеждения в этом желании считали обязанностью соблюдать большую осторожность, доказательством чему служит любопытное распоряжение по поводу черниговского судьи Василья Каневского: он был сослан в ссылку за ложный донос на черниговского епископа Иродиона, но потом состоялось такое определение: "Хотя Каневский и за настоящую свою вину в ссылку сослан, только надлежит его из ссылки освободить и жить ему в своем доме без должности до указа, чтоб знали, что он в ссылку сослан был за вину свою, но высокою ее импер. величества милостию освобожден, и впредь бы малороссияне в каких-либо и правдивых причинах доносить не опасались".

Но Малороссия оставалась спокойною, несмотря на то что сильно страдала от войны. Укажем из ее жизни несколько любопытных случаев, которые лучше других представляют тогдашние отношения.

В 1733 году в Киеве умер войт Димитрий Полоцкий; гетман Апостол по прошению киевских мещан и по прежнему их обыкновению послал в киевский магистрат генерального есаула Лисенко для присутствия при избрании кандидатов на войтовство. Магистрат и посполство избрали троих кандидатов из бурмистров: Федора Нечая, Михайлу Корнеевича и Кузьму Кричевца. По избрании отправили к гетману просьбу определить из них, кто, по его мнению, годился в войты, причем на выборе и на просьбе подписалось 68 человек урядников и за все посполство; некоторые урядники подали гетману на имя императрицы челобитную, что Кричевец достойнее всех других, и на этой челобитной подписалось 27 человек. Гетман выбор и челобитную препроводил в Коллегию иностранных дел с требованием указа, кому быть войтом. Генерал Нарышкин писал, что лучше всех Кричевец. Но вдруг присылает бумагу киевский генерал-губернатор граф Вейсбах с объявлением, что бунчуковый товарищ в Полтаве Василий Быковский, внук бывшего киевского войта Ивана Быковского, просит, чтоб его включили в число трех кандидатов на войтовство, что он, Вейсбах, велел спросить магистрат о Быковском, и 17 человек членов магистрата объявили Быковского очень достойным, а не поместили его в число кандидатов только потому, что не знали о его согласии; тут же эти 17 человек просили определить в войты именно Быковского, а не кого-нибудь из прежде выбранных кандидатов, особенно не Кричевца, который много должен внутри и вне государства, и они опасаются, чтоб русское купечество за границею из-за него чего-нибудь не потерпело, как уже за брата его многие поплатились, другие умерли под стражею, а Кричевец с 11 товарищами подал доношение, что Быковскому, как бунчуковому товарищу, войтом быть нельзя. Киевский губернатор Шереметев, архиерей, печерский архимандрит и все мещане стояли за Быковского, и так как сам Вейсбах знал его за доброго служаку, то и решился также за него ходатайствовать. Но в Иностранной коллегии справились, что по привилегиям, постоянно подтверждавшимся с царя Алексея Михайловича, киевские мещане выбирают кандидатов в войты из мещан же. На этом основании Сенат приговорил быть войтом Кричевцу. Приговор состоялся в июле 1734 года, но в сентябре Сенат получил следующий указ императрицы: указали мы в киевские войты как ныне определенного из Сената Кричевца, так и прочих представленных кандидатов не определять, а велеть киевским мещанам вместо их выбрать самим в войты из киевских же мещан, и притом к тамошнему губернатору послать секретный указ, дабы он на тот их выбор под рукою смотрел и как возможно старался, чтоб они выбрали из природных великороссийских людей, которые ныне в Киеве мещанами состоят, самого доброго, верного и бесподозрительного человека.

В ноябре 1735 года малороссийское духовенство подало императрице просьбу за подписью троих архиереев - киевского, черниговского и переяславского, чтоб позволено было монастырям и всему духовенству покупать недвижимые имения у мирских людей и чтоб каждый был волен отдавать свои земли духовенству на помин души; архиереи писали, что это

запрещено в резолюции на пункты гетмана Апостола, но таким запрещением нарушены прежние постановления и права. Императрица велела послать указ кн. Шаховскому, чтоб он, призвавши архиереев к себе в Глухов, пристойным образом сделал им выговор, дабы впредь в прошениях своих таких грубых и предосудительных слов отнюдь не включали, а между тем он должен стараться секретнейшим образом склонить генеральную старшину, полковников и прочих чиновников, чтоб прислали просьбу о неукреплении мирского чина людей земель и угодий за монастырями и духовными лицами, на которую просьбу получают желаемую резолюцию. Также людям, находящимся при составлении малороссийского Уложения, напоминать, что малороссийский народ от такого укрепления земель терпит большое разорение и лишены родительского имения, отказанного в монастыри, служить не в состоянии, отчего и государственному интересу вред происходит, склонять их, чтоб пункт о неотчуждении недвижимых имений, как наиважнейший, внесен был в Уложение. Призванные архиереи отвечали, что написали простотою своею, впредь писать не будут и просят прощения.

В 1737 году произошло столкновение у черниговского архиерея Илариона Рогалевского с капитаном Кобылиным, который набирал козаков. Кобылин жаловался, что в церкви после торжественного молебна архиереем не допустил его ко кресту и сказал: "Черт тебе, к... сыну, дал указ, покажи указ!" Князь Борятинский, управлявший в это время Малороссию, произвел следствие и арестовал архиерея, за что получил выговор от императрицы: "Нам зело неприятно и к великому нашему удивлению касается, что вы одного архиепископа без нашего указа под такой крепкий караул брать велели, не рассуждая, что из таких поступков всякие следствия произойти могут". Иларион объявил, что он действительно сказал Кобылину в церкви громко: "Ты недостойн креста, потому что церковь св. разоряешь, хочешь с церкви крест снять". Говорил так потому, что Кобылин, набирая людей для прикрытия границ, приехал в Елецкий монастырь, монахов среди монастыря неизвестно за что бил, а указа никакого ему, архиепископу, о том не объявил. Иларион признался, что сказал еще: "Ты не дворянин и не Кобылин, а кобыла; разве тебе такой указ черт дал, чтоб ты разорял монастыри, а не государыня; государыня таких указов не дает".

Князь Борятинский получил выговор за то, что арестовал архиерея, но не видно, чтоб получил выговор фельдмаршал Миних, который в 1739 году, будучи проездом в Глухове и недовольный решением генерального суда по одному делу, касавшемуся его имения, кричал на судей: "Таких судей повесить или, бив кнутом, сослать в Сибирь". О законах малороссийских отзывался: "Шельма писал, а каналья судил".

В Малороссии вторичное недопущение к гетманскому избранию обошлось даже и без тех движений, которыми сопровождалось первое. Но на Востоке, в странах приуральских, стремление правительства стать более

твердую ногою среди варварского народонаселения вызвало со стороны последнего сильное сопротивление.

1 мая 1734 года подписана была резолюция о построении города при устье реки Ори вследствие представления сенатского обер-секретаря Ивана Кириллова, что Киргиз-кайсацкая орда, никому не подвластная, многонародная и военная, ныне приходит в подданство ее и. в-ства и уже Меньшей орды хан Абул-Хаир с подданными своими, которых около 30000 человек, принят в подданство в 1731 году, а чрез его пересылки и Большая орда прислала просить о подданстве; сам хан желает, чтоб близ его владения, при устье реки Ори, впадающей в Яик, построен был город, в котором обещает по временам жить и службу оказывать.

Для построения этого города отправился тот же Кириллов в чине статского советника и скоро должен был столкнуться с знаменитым правителем горных заводов Татищевым. Осенью Татищев донес в Кабинет, что, будучи в Башкирии, говорил он татарам, что быть там ярмарке. Татары очень обрадовались, но Татищев стал им внушать, что нельзя ограничиваться этою ярмаркою: много лошадей в Сибири купить некому, а можно бы им продать их у Макарья или в Москве. Татары отвечали, что пригонять им лошадей никак нельзя, потому что везде поля засеваются хлебом, офицеры же, присылаемые к ним для покупки лошадей по деревням, делают им великие обиды, если же они, татары, "попротивятся, хотя и правильно", то берут их на Уфу и сильно их разоряют. Татищев представлял, чтоб учредить ярмарку в Уфимском уезде при реке Белой, ниже Бирска, куда купечество со всей России может приезжать; сверх того, устроить там хлебный магазин; там же можно будет покупать недорого илецкую соль, лучшую в России, хотя только про обиход императрицы. Татищев прибавлял, что татары везде его спрашивали, скоро ли переменят нынешнего уфимского воеводу Кошелева, потому что он великий грабитель и бить челом на него не смеют. Вследствие этого представления Татищева Кабинет послал указ Кириллову об учреждении ярмарки в Уфимском уезде на реке Белой; кроме того, он должен был подлиннее наведаться о поведении Кошелева и немедленно отписать в Кабинет. Кириллов отвечал, что лошадиную ярмарку учредить и в обычай ввести никак нельзя, потому что башкирец дожидается купцов к себе в дом, а в город поедет разве по приказной нужде или для гулянья. О Кошелеве дал отзыв неблагоприятный. В Кабинете отдали это дело на усмотрение Кириллова.

Между тем Кириллов, готовясь к построению Оренбурга, жил в Уфе и посылал в Кабинет любопытные известия о стране. Донося в Кабинет о вражде между киргизами и башкирами, он писал: "Никогда не следует допускать их в согласие, а в потребном случае надобно нарочно поднимать их друг на друга и тем смирять".

Кириллов представил подробные известия о состоянии башкирцев: до русского подданства они разделялись по родам, которые при русском владении названы волостями; кроме того, разделились на четыре части, или дороги: Ногайскую, Казанскую, Сибирскую и Осинскую. Все земли и угодья разделены между родами; от некоторых родов произошли уже новые, которые называются аймаками, иногда тюбями. По отношению к России башкирцы разделились на две части: 1) служилые тарханы, которые не платили никакого ясаку, но служили военную службу; 2) ясачные плательщики. Но к башкирцам для своеговольного житья, также по причине обширных и изобильных мест несмотрением бывших и нынешнего воевод набрело жить великое множество горных татар, черемис, чуваш, вотяков, так что теперь этих пришельцев вдвое больше, чем башкирцев. Из них в давние времена некоторые крещены, только от нерадения духовных в слабой вере находятся, ибо языка русского не знают, попы толкуют чрез толмачей, и то разве однажды в год. А татары, пришельцы из Сибири, особенно из Казани, их духовные - ахуны, муллы, абызы - гораздо прилежнее стараются приводить их в свой закон и обрезать и воздержною своею жизнью простяков к себе привлекают, школы имеют, мечетей множество настроили, чего теперь хотя нельзя у этого своевольного народа пресечь, но впредь нужно стараться, ибо и без прибылых людей настоящее башкирское народонаселение чрезвычайно увеличивается вследствие многоженства. Башкирцы, мешеряки и ясачные, хотя и понемногу, будут назначены в службу к городу Оренбургу, однако которое время там пробудут, жены без плода останутся, а которого убьют, тот и вовсе не возвратится. Так исстари наблюдали эту политику во всем государстве над татарами: во время шведской, польской и турецкой воин везде их посылали перед войсками на пропажу, вменяя в службу, а на самом деле затем, что они в домах не надобны, а теперь не только здесь, но и в Казанской и в Воронежской губерниях все живут в домах и множатся, а от платежа подушного сбора или от корабельных работ никогда не убавятся. Воров беспрестанно приводят в Уфу в суд, больше всего в краже лошадей, и почти все пришельцы из других уездов, с которыми воеводы привыкли поступать, ссылаясь на Уложение и на указы: за одну и за две кражи наказывать и освобождать. Такими людьми исстари торговля воеводская происходит: вовремя держания они всякую работу на воевод и приказных людей производят, а потом, кто больше даст, тот скорее и освободится; "поэтому я сделал представление в Провинциальную канцелярию, чтоб уличенных в воровстве отнюдь не освобождали, но отправляли в Казань для отсылки на работу, ибо и без воровства надобно их отсюда убавлять, особенно тех, которые не башкирцы, а пришлые, чем будут довольны настоящие башкирцы: сами о том просят и, приходя ко мне, говорят, что дикого зверя - волков всех перевели, лошадей и скот без пастухов в лесах и степях содержат, а воров уфимские судьи перевести не могут. Суд я застал по здешнему народу весьма обидный: по всякому малому крестьянскому делу принуждены подавать исковые челобитные и в волоките конца не найдут; представил я в воеводскую канцелярию, чтоб

волокит убавили, и, если истцы и ответчики, побивши челом в малых делах, съехали в уезд и помирились, таких в город не волочить, а велеть брать на месте мировые пошлины. Еще и то немалая была людям от города отгоня, что за водопой пролубного брали по копейке с лошади, хотя б кто на один час в город въехал, хватали по рынку, а не у водопою, притом иных бивали, чего ни в каких городах нет, а сбору всего по 12 рублей в год. Я такой малый сбор, вредный интересам вашего величества, отставил, а чтоб табельному окладу не повредить, эти 12 рублей приложил к кабацкому сбору. Служилые люди, дворяне и козаки, ни лошадей, ни оружия годного иметь не могут и в такую мизерию приведены, как крестьяне: работают на начальство, сено косят, дворяне в денщиках лошадей и двор чистят, огороды копают. Я денщиков отрешил и никуда в работы посылать не велел, исполнять им только одну службу. Магометанских духовных, которые попадутся хоть в малой вине, надобно не щадя наказывать и ссылать не только из Уфимского, но из Казанского и других уездов, потому что простые татары в них, как в пророков, веруют, и они привлекли их к себе воздержным житьем и в вере утверждают и умножают. Притом можно бы из них лучших ученых от их мечетей, школ и простого народа отлучать для переводов и толмачества, как и было: из самой Казани многие, и самые лучшие, ученые взяты в Персию, а теперь все тут у мечетей живут".

Мы видели, что Кириллов уже столкнулся с Татищевым, объявив Кабинету, что предложение последнего о лошадиной ярмарке неудобно исполнимо. Скоро произошло другое столкновение: в марте 1735 года Татищев дал знать в Казанскую губернскую канцелярию, что, по известию из Кунгура, у татар великие съезды и советы, каких давно не бывало, вследствие чего приняты меры предосторожности и к башкирцам посланы лазутчики для проведения; притом Татищев писал, что посланный на Уфу курьер с письмами пропал. Узнавши об этом, Кириллов донес императрице, что известие не основательно, все обстоит благополучно, что письмо оного Татищева приводит только к страху и конфузии простых, неведущих кунгурцев, что курьеры ездят безо всякой опасности и ни один из них не пропадал. Башкирцы действительно собираются, потому что им объявлена служба к реке Ори для построения города. Может быть, искореняемые вследствие новых распоряжений его, Кириллова, воришки-конокрады, убегая от поимок, разгласили оному действительному статскому советнику (Татищеву) о пустых опасностях, о чем удобнее было бы ему, по близости, списаться с ним, Кирилловым, и, получив подлинное известие, уже бояться. Теперь башкирцы, увидав правление без лакомства, находятся в таком подданническом послушании, в каком прежде никогда не были, ибо, кто не мздоимец, такому покорны, а кто хочет себя обогатить, тот не воевода, а раб их будет, и что хотят, то воевода поневоле им делает.

В апреле Кириллов двинулся за реку Белую и, разговаривая на дороге с ташкентскими купцами, уже составлял планы о приведении в подданство Ташкента и Туркестана, вызвал из Астрахани индийского купца, чтоб

расспросить его об индийском торге и о путях в Индию, а между тем писал кабинет-министрам Остерману и Черкасскому: "Надеюсь, милостивые государи, частыми прошениями досаждаю, да миновать нельзя: ежели от вас оставлен буду, кто же поможет? Не могу от Военной коллегии конца найти в перемене уфимских солдат. Ежели никакие резоны не годятся, то напрасно я в таком великом деле азарт на себя взял, ибо тремя батальонами, со мною на первый случай посланными, обнять и в вечном владении утвердить двух провинций нельзя. Сосед мой Василий Никитич еще изволил покушаться: приведя к самой распутице, отпустил пушечки и фалконеты, наняв безмерною ценою; однако бог свое делает: до места не раскидали, но довели. Ведаю его намерение строить на башкирских землях медные заводы и будто бы башкирцев тем лучше в покорение привести можно, но подлинно он обычаев их не знает, а когда в башкирцах заводам быть, то разве еще вдесятеро беглых прибудет, паче же утеснением на прежние худые замыслы принудим напрасно". Но Кириллов хорошо знал, что если будет оставлен Остерманом и Черкасским, то может помочь ему Бирон, и потому написал к нему 21 июля: "Не иное что придало причину получить всемилостивейшие нашей монархини указы на все мои, нижайшего раба, доношения, в Кабинет, в Сенат и Военную коллегию посланные, как вашего высокографского сиятельства милостивое сему новому делу признание, за что всемогущий бог да подаст вашей фамилии долготнее здоровье с получением всех благ по желанию сердец ваших и слава имени да пребудет в вечной незабвенной памяти, что таковым полезным делам, о которых мало верят, есть скорый помощник. Теперь неимоверно и наполнены эхи от всех сторон неудобностями, опасностями, но здесь в настоящем деле инаково все к тому идет, что в нижайшем моем проекте написано". Помощь Бирона была очень нужна Кириллову при новой опасности, которой подверглось его дело.

Шедший за ним к Ори-реке из Уфы Вологодский драгунский полк подвергся нападению восставших башкирцев; подполковник Чириков и с ним 60 человек были убиты, из обозу 46 возов было оторвано и разграблено. Кириллов старался представить, что опасность не так велика; так, он писал: "Верные башкирцы многих волостей побрали указы о поимке воров, весьма ненавидят их и ставят в несчастье свое, что такие воры явились, просят отпуску для челобитья вашему величеству, чтоб себя оправдать, а воров перевести". К Бирону 23 июля Кириллов отправил новое письмо: "Буде, милосердый государь, для такого малого воровского нападения да оставлено будет к великой славе и пользе зачатое дело, то не токмо новые многие народы, пришедшие в подданство и еще желающие подданства со многими городами, яко Ташкент и Арал, можем потерять, но и нынешний случай к подборанию рассыпанных бухарских и самаркандских провинций и богатого места Бодокшана упустим, а, сверх того, старым подданным башкирцам случай подастся впредь злодействовать по их махOMETанству внутренних ко христианству врагов, а ежели не послаблено и не оставлено будет, то башкирцев загородкою нового Оренбурга и других по Яику и Белой реке городков со временем в

такое подданство удобно будет примать, как казанских татар, причтя к потерянию их вольностей явное их воровство, а между тем вышеупомянутые новые владения присовокупятся и страх на обе стороны прибудет, что во время какого воровства башкирцев койсаками, а койсаков башкирцами смирять, к чему и калмыки близки. Все прежде бывшие в таких же своевольствах - Малая Россия разорением Батурина, яицкие козаки - Качалина и других городков и не упуском за воровства казнями - в надлежащее покорение приведены, а башкирцы - самый плюгавый и неоружейный народ, подобны чуваше и мордве, никакого страху не ведаючи, живут почти без податей и без службы, попущенные к своевольствам, но токмо одни воеводы, бывшие у них, наживаясь, многие тысячи свозили".

5 августа правительствующий Сенат, будучи в Кабинете и слушав с господами кабинетными министрами сообщенных сведений о возмущении башкирском, по общему согласию положили учинить следующее: немедленно послать персону знатную и надежную, которому дать полную мочь и власть, употребляя вначале добрые способы и уговоры, а если добрые способы не подействуют, то употреблять оружие. Если башкирцы будут представлять о своих обидах, то исследовать немедленно по сущей правде тех, на кого они покажут, за крепкий караул брать, обиды тотчас прекратить, ц, сколько возможно, поправить; если б они поставили себе в обиду строение крепости на реке Ори, то объяснить им, что крепость эта строится только для защиты их от киргиз-койсаков. Из Елабуги, из Кунгура приходили известия о немалой опасности от башкирцев и татар; башкирцы присылали в Казанский уезд поднимать тамошних татар - русских людей рубить и деревни жечь.

Кириллов, несмотря ни на какие препятствия, хотел сделать свое дело: 16 августа он прислал императрице поздравление с Новою Россиею, которая приобретена собственным ее величества предвидением и впрямь почтена быть может не меньше сысканных от европейских держав земель, прославленных металлами и минералами. Кириллов доносил при этом, что он с командою благополучно достиг реки Ори; по дороге и на месте будущего Оренбурга нашли благонадежные признаки руд медных и серебряных, также камни порфир, яшму, мрамор.

Знатная и надежная персона, назначенная для усмирения башкирского бунта, был, как мы уже упомянули, опальный А. И. Румянцев, получивший прежний свой чин генерал-лейтенанта и назначенный сначала астраханским, а потом казанским губернатором. Кириллов, получа приказ во всем повиноваться приказаниям Румянцева, писал 23 сентября, что он Оренбург благополучно основал, артиллерию укрепил, солдатскую команду в первую крепость и в казармы ввел и провиантом удовольствовал; потом вследствие известий о башкирских разбоях принужден был оставить в Оренбурге подполковника Чемадунова с десятью ротами, а сам отправился назад для соединения с Румянцевым,

который стоял в Мензелинске. Кириллов и Румянцев разрознились в мнениях о средствах потушения мятежа; Кириллов писал, что башкирцы до тех пор не усмирятся, пока не последует розыск и казни и не введутся полки на квартиры в Уфимский уезд; Румянцев же писал, что опасается не взволновать бы этими мерами всех башкирцев, тогда как до сих пор была замешана в бунте только часть их, и думает, что лучше без оружия привести их в повиновение, довольствуясь повинной челобитной от всего народа. В начале ноября Румянцев донес, что башкирское возмущение утушено, причем нельзя наказывать бунтовщиков, во-первых, по малочисленности войска: при Румянцеве находилось только четыре драгунских роты, один батальон Казанского гарнизона и 650 козаков; во-вторых, провианта нет, ни подрядчиков найти, ни натурою собирать нельзя. Относительно причины бунта Румянцев извещал о жалобах башкирцев на суровые поступки полковника Тевкелева. В письме, присланном от башкирских старшин к Румянцеву, говорилось, что им присланы были указы идти на оренбургскую службу; не зная подлинно, как ехать, собрались они всем миром и поехали на место, где дедам и отцам их указы объявлялись, и послали в Уфу осведомиться о подлинном указе, в какой силе они на службу наряжаются. Но Тевкелев одного из их посланных убил, другого высек, двоих под караулом держал; кроме того, худым людям указ дал ловить и приводить в Уфу лучших людей, которые были в собрании. Узнав об этом, лучшие люди заплакали, что жизнь их кончилась, и от такой неволи забунтовали; и с Иваном Кирилловичем ссорились от него ж, Тевкелева. "Не повелите ль, - писал Румянцев императрице, - до удобнейшего времени так их ныне в тишине оставить, ибо народ грубый и вскоре так к верному подданству и к накладу на них податей без всякого их возмущения никак привести невозможно, а надобно время до времени почаще старшин их призывать, и потом, когда какое намерение вашего величества будет, уготовясь совсем заблаговременно, как везде довольные магазины устроить, так и здешние пригородки для убежища людям укрепить, тогда их всех знатных задержать и уже силою оружия к тому приводить".

Главный командир Румянцев был не согласен с мнением Кириллова; Татищев в своих письмах к Румянцеву внушал ему недоверие к планам оренбургского основателя, открывшего Новую Россию. 30 октября Татищев писал Румянцеву из *Катеринска*: "Господин статский советник обнадеживает меня тем, что ныне в Оренбурге завод серебряный, а на Самаре медный заводить намерен, и требует к строению оных ремесленников. И хотя к тому я великую охоту имею, но наче же должность моя, что то более положено на меня, однако ж мне оное весьма удивительно, ибо хотя б все было спокойно, но завод не прежде строить, как все к тому нужные обстоятельства согласовать будут, и суще: 1) чтоб руд было довольно, но того весьма нет, а по верховным верить нельзя, ибо сверху покажется, да вглыбь ничего; 2) чтоб руды плавки достойны были; но из присланных проб видим, что ни единой достойной нет; ежели же ко мне недостойные присланы, а лучшие оставлены, то и причины не

разумею; 3) надобно, чтоб лесов было довольно, но к нам писал наш посланный надзиратель и полковник Тевкелев сказывал, что лесов там весьма недовольно, и потому я в такое сомнительное дело вступать не смею, но хочу ожидать, как ваше прев-ство довольно обстоятельства рассмотрите и меня уведомите".

Императрица одобрила мнение Румянцева, чтобы пока довольствоваться настоящим положением дел между башкирцами, но приказала, чтоб Кириллов приехал из Уфы в Мензелинск к Румянцеву на совещания о мерах окончательного успокоения башкирцев. В декабре 1735 года Румянецв и Кириллов выработали (т. е. Кириллов написал, а Румянецв подписал) такое рассуждение. 1) между башкирцами старинные тарханы никакого ясаку не платят, должны служить, но служат они своему воровству, а не по указам, и потому этот их чин вперед не надобен; остальные башкирцы платят ясак самый малый; 2) мещеряки, служилые татары по указам из других городов накликаны и определены служить по Уфе, но собственными землями не наделены, принуждены жить на башкирских и давать башкирцам подать, почему пошли было в крестьянство к башкирцам, но по приезде Кириллова и Тевкелева они от башкирского послушания отвращены и в нынешнем башкирском воровстве служили верно; их тысяч с пять, способных к службе; 3) тептери и бобыли - из разных уездов беглые татары, чуваша, черемисы, вотяки, башкирцы - отдают им внаймы свои земли и владеют ими как крестьянами; 4) новокрещенные ясачные, число их малое - дворов с 300, равного состояния с тептерями и бобылями и хотя презираемы в наставлении истинного благочестия, однако весьма в службе верны и за то разорены теперь ворами. Причина нынешней продерзости башкирцев - это послабление их прежним своевольствам и воровствам, и потому впредь надобно: находящиеся здесь полки в надлежащее состояние привести; магазины наполнить провиантом, основать Оренбург и другие назначенные крепости: мещерякам за их верность и службу отдать в вечное и безоборочное владение те земли, которые они нанимают у башкирцев; с тептерями и бобылями старыми поступать точно таким же образом; замешанным в воровстве запретить носить ружья и по домам иметь; в уезде кузнецов и кузниц не иметь, из городов кузнецов и насекальщиков в уезд не отпускать, пусть покупают все нужное в городах; пойманных в воровстве и в бунте и повинившихся казнить или в ссылку сослать, а не освобождать, ибо к будущим воровствам первая надежда, что не только непойманных прощают, но из тюрем освобождают, а пущих заводчиков, хотя они и прощение получили, по причинам частных дел одного за другим забрать и жестокою казнью казнить; внутри башкирских земель построить городки; каждая волость должна иметь у себя выборных старшин, двух или трех, на которых можно было бы взыскать всякое преступление или неисправку, а теперь у них всяк большой, и указы пишут обще: тарханам, батырям и всем башкирцам; также запретить сборища делать, отставить обыкновенный старинный мирской сбор в семик у речки Чесновки; в это время пусть советуются о мирских нуждах, письменно доносят и бьют

челом, а не так, как прежде бывало: собравшись поутру, воевод, приказных людей и толмачей на письме бранивали ворами, грабителями, разорителями, а как эти воры их одарят, скота на зарез и пойла пришлют, то пьяные к вечеру похвальное письмо напишут и в ночь разъедутся по домам; горланы с таких сборищ деньгами, кафтанами и сукнами рублей по 50 и больше сваживали. Так как есть явное подозрение на магометанское духовенство, то оставить по одному ахуну на дорогу, а взять с них присягу, чтоб о всяких дурных поступках объявляли и из других вер в свой закон не приводили, без указов мечетей и школ вновь не строили, и если ахун умрет, то нового определять правительству, смотря по верности, а не самим башкирцам ставить. Башкирцы, разбогатев, завели свойство с казанскими, слободскими и уездными татарами, и этим способом во всяком деле, что б в Казани ни началось, башкирцам уже давно дано знать: надобно запретить в свойство вступать без позволения казанского губернатора и при позволении наложить подать с свадьбы лошадыми. Снять запрещение покупать у башкирцев земли и угоды, чтоб мешались с посторонними. Меры эти касаются не настоящего только, но будущего времени: башкирцы опасны не настоящею своею силою, но будущим размножением от многоженства и приплыва беглых; если бы противодействовать этому размножению без случая мятежа, то все бы взбунтовались, а теперь легко начать с открывшихся воров; когда они будут прибраны к рукам, тогда остатки легче укротить и так в мутной воде обуздать, как в старину по Волге черемис и мордву. Если же упустить нынешнее удобное время и не взять предосторожности, то вперед надобно опасаться большого зла, особенно в случае войны с единоверными им турками или если между ними явится умный вор, как был Стенька Разин. Если б даже и этого не случилось, то русское бесслаvie во всю полуденную Азию пойдет, потому что там разглашают они себя не подданными, но независимыми, защищая под своим именем принятых беглецов. Когда же башкирцы будут усмирены, то все новоподданные и желающие принять подданство такие же ветреные народы не посмеют впредь своевольничать или по крайней мере не будут в пример ставить башкирскую вольность. Но для усмирения башкирцев необходим Оренбург, который находится позади башкирского жилья и которым вместе с принадлежащими к нему местечками башкирцы будут огорожены, как стеною.

Кириллов отправился с этим мнением в Петербург, где в начале 1736 года узнали, что башкирцы Ногайской и Казанской дорог опять начали бунтовать и не пропустили к Оренбургу обоза с провиантом. Кириллов воспользовался случаем и подал императрице мнение: не соизволено ль будет воров-башкирцев от Сибирской и Казанской стороны утеснять, разоряя сплошь, а у тех, которые к воровству не приставали, взять в города аманатов - сыновей и братьев знатных людей, а не таких наемников, которые в прошлых годах были; теперь самое удобное время действовать против башкирцев - март и апрель месяцы: сами они голодны и лошади худы. Мнение было принято, и автор его был опять отправлен наскоро в Уфу; Румянцев получил указ немедленно идти из Казани в башкирские

жилища, воров всякими мерами искоренять, жилища их разорять, пущих заводчиков казнить смертью, прочих с женами и детьми ссылат в ссылку, годных - в службу в остзейские полки и во флот, негодных - в работу в Рогервик, малолетних и женщин раздать в русских городах, кто взять пожелает, с тем чтоб назад на свободу отнюдь не отпускали, пожитки и хлеб отбирать на войско и в магазины, лошадей отсылать в драгунские полки. В половине марта Румянцев донес, что хотя около Уфы, также на Сибирской и Осинской дорогах и есть башкирские замешания, однако на обеих этих дорогах уже более двух тысяч воров искоренено и несколько десятков деревень разорено. 3 апреля Румянцев двинулся к реке Деме, в самые воровские жилища; тогда заводчики бунта, отпустя семейства свои в демские вершины, сами явились к нему в числе 19 человек в надежде, что опять получат прощение, но Румянцев взял их всех под караул и шел далее воровскими жилищами до самой крайней деревни вверх по реке Деме; воровские собрания не оказывали нигде ни малейшего сопротивления и бежали перед русским войском; около тысячи воров обоего пола было побито, около ста деревень выжжено. Кириллов писал, что 24 марта вышел он на Ногайскую дорогу и воров-башкирцев разными партиями, как скот, гнали. По рекам Белой, Уршаку, Кегушу, Тору, Селеуку, где было самое воровское гнездо, сожжено около 200 деревень, в которых около 4000 дворов; разорена и первая во всей орде мечеть Азиева, в которой во все бунты башкирцы совещались о восстании и коран целовали; казнено 158 человек, побито обоего пола около 700, живых взято 160 да роздано в Уфе 85, в Остзею в службу послано 99; так как сильное разорение произведено самим Румянцевым по реке Деме, полковниками Мартаковым и Тевкелевым - на Осинской и Сибирской дорогах, из Сибири - тамошними командами под управлением Татищева, так как уже пропало воров около 4000, то такой погром, по словам Кириллова, привел к тому, что воры не знали, куда скрыться, ибо с самого начала подданства ни за которые бунты никогда такой казни и разорения не видали. "По сему началу несомненная надежда есть, что сии плуты в совершенное подданство приведены будут". В мае майор Останков поразил воров от Сакмарска по Ногайской дороге. Несмотря на то, плуты не были еще приведены в совершенное подданство. Румянцев донес из лагеря неподалеку от Мензелинска, что 29 июня вор Килмяк-Абыз из-за реки Белой, собравши башкирцев Ногайской и Сибирской дорог тысяч с семь или больше, нечаянно напал на его лагерь к самому фронту, зная, что у него команда не очень людна, и то вся бывала в "раскомандировании"; ворах хотелось Румянцева убить или взять в плен и освободить всех своих аманатов и пленных, но этого им не удалось; несмотря на сильный натиск башкирцев, причем русские потеряли около 150 драгун убитыми и ранеными, воры побежали, как только завидели пехоту, оставив человек двести на поле сражения. Но эта проигранная битва не отняла духа у башкирцев Килмяковой толпы; они стали возмущать башкирцев Казанской и Ногайской дорог, пожгли и разорили много деревень, которые к ним не приставали, и в верности осталось очень немного деревень, именно только те, которые находились в лесах и засеках.

"Теперь вся эта сторона в великом смятении, - писал Румянцев, - и почти все пристали к ворам, даже до самого Казанского уезда. За скорою ездою воров нашим гонять за ними никак нельзя; где сойдутся, башкирцы нимало не стоят, а нашим гнать за ними, за удобою лошадей и за отягчением провианта, нельзя; в летнее время регулярным войскам справиться с ворами никак невозможно, и нерегулярных при мне самарских козаков только 200 человек, а яицкие и до сих пор не бывали; нельзя ли калмыков сюда отправить, хотя малое число? Башкирцы ныне все подозрительны явились, ибо отцы у меня содержатся, а дети к ворам пристали". К калмыкам отправлена была грамота, чтоб шли на башкирцев, к Миниху - указ, чтоб отправил в Башкирию два драгунских полка, "понеже интерес наш всемерно требует, чтоб чрез нынешнюю зиму тех бунтовщиков усмирить и сие замешание к вящшему расширению не допускать". Кириллов продолжал присылать утешительные донесения, причем явно намекал на оплошность Румянцева. От 13 августа он писал: "Об искоренении воров-башкирцев старание прилагаю, и многое число главных плутов уже в разных местах пропало, а прочие бегами живот свой спасают; и хотя в июне и июле воровским обычаем наглости от них были и еще, может быть, произойдут в таких местах, где *оплошных найдут*, однако к тому пришли, что сей бунт подлинно последним останется, и уже Сибирская дорога вся и по Ногайской многие в совершенное подданство приведены, и остальные, если будут продолжать воровство, с голоду и холоду зимою пропадать станут; лошади и скот во многих местах выпали, и теперь еще падеж не утих. Что же до строения городков надлежит, и в том не на одно сие время, но вечный интерес зависит, и слава победоносного оружия вашего величества купно со отворением полезной коммерции во всю полуденную Азию распространится, ибо в самых пустых и доселе неизвестных или брошенных местах несколько новых провинций под державу вашего величества прибудет с таким подземным плодом, о котором многие еще не верят; и к тому страждущее в басурманских руках христианство (т. е. в Хиве, Бухарах, Балхе, Бодокшане и иных) свободу получит, и впредь туда из крайних русских селений никак заяицким татарам воровскими набегами в полон брать или красть будет нельзя. Опричь внутренних в башкирах городов, позади всего их жилья, зачиная от Волги до Сибири и от Оренбурга до Аральского моря, быть имеет 45. Старания прилагать буду, дабы действительно оные населить и на Аральском море российский флаг объявить, а работников с государства к работе оных городков требовать не буду. Кайсацкие три орды состоят в подданстве и присылали ко мне с тем, что они верность свою и службу желают показать над ворами-башкирцами. Понеже в том вашего величества высокий интерес зависит, дабы сии народы всегда в несогласии были, позволил в отмщение своих прежних обид поиск учинить над дальними Сибирской и Ногайской дорог башкирцами. А ко всегдашнему смотрению на поступки тех орд намерен определить в каждую орду человека по два и быть при ханах и лучших старшинах, коих людей из ссылочных выберу, потому что хотя из них в каком-либо случае пропадет -

тужить не о ком, а может быть, заслуживая вины свои, прилежнее станут наблюдать". В сентябре Кириллов писал, что несколько новых городков населил охочими козаками, татарами и калмыками: "И тако без всякой помехи и без государственных работников зачало живой линии воспоследовало; ни одного места нет с недостатком к житью человеческому: земля черная, леса, луга, рыбные, звериные ловли довольные". Относительно башкирцев писал: "У сих воров не так, как у других орд, никого главного владельца нет, но, подобно волжским разбойникам, где увидят оплошно, тут добычи ищут; ежели б они столько сильны были, как об них за незнанием рассуждают, то как бы я со 100 драгун и несколькими стами козаков без нападения на меня сквозь самой середины жилья пройти мог?" В то же время Кириллов писал Бирону, подписываясь "вечным рабом" и прося не оставить его, бедного, в здешнем странствовании; писал о своей деятельности, что нигде десяти дней на одном месте не живет; жаловался, что отовсюду затрудняют его пустыми указами: "Навещают отовсюду указами, и такими, что жаль листа бумаги на ответы терять, только у меня время удерживают; хотя б дали мало основаться и к порядку привести, тогда мог бы на пустые требования пустые и ответы на гуляньи писать".

Румянцев был перемещен в Украину, и отправленный на его место бригадир Хрущов в конце октября 1736 года доносил, что отовсюду башкирцы являются с повинною и присягают; заводчиков бунта задерживали под караулом в виде аманатов. По донесению Кириллова, башкирцы принуждаемы были к покорности голодом, холодом и нападениями киргизов. Но из Петербурга получен был указ, что "хотя при нынешней турецкой войне в войске не без нужды, однако не меньше нужно и то, чтоб здешний домашний внутренний огонь был потушен как можно скорей, и потушен таким образом, чтоб вперед не опасаться новых смут" и потому они должны сделать общее представление о средствах для этого. На основании этого указа Хрущов и Кириллов доносили, что войска распределены ими на пять команд, так чтобы в будущем апреле можно было окружить ими башкирцев со всех сторон, главных заводчиков и товарищей их, до сих пор не пойманных, искоренить, остальных же привести в полное подданство. Башкирцев двух ближних дорог, Казанской и Осинской, кажется, опасаться нечего; относительно же Сибирской стороны, писал Кириллов к Татищеву, который "в начале второго бунта поступал очень осмотрительно, и сам, вступая к башкирцам в малолюдстве, почти с одними крестьянами, привел бунтовщиков в повиновение и два городка в удобных местах построил, почему на него и впредь насчет тамошнего отдаленного края надежда имеется".

В начале 1737 года Кириллов, Хрущов и Татищев получили из Кабинета секретные указы, что Румянцев доносил (а Румянцеву внушил эту мысль Татищев), когда башкирцы будут успокоены, то для уменьшения их числа и приведения в слабость надобно взять у них тысячи две или три лучших и вооруженных людей под предлогом турецкой войны; теперь наступило

удобное для этого время, но Кабинет полагается совершенно на Татищева, Кириллова и Хрущева: если они думают, что время еще неудобно, то пусть не трогают башкирцев. Но в то же время Хрущов был назначен в Украинскую армию, его место занял генерал-майор Соймонов, которому, как предвиделось, не могло быть много дела; составлены были такие известия для напечатания в курантах: "Из башкир получены подтвердительные ведомости, что тамошняя комиссия к окончанию приходит. Которые главные бунтовщики подлый народ возмутили, те переловлены, а именно: Килмяк-Абыз, Акай Кусюмов с сыном, Умир Тахтаров, Сабан, Юсуп и другие многие, коим вскоре следствие окончится, а прочих уже несколько сот в разных местах переказнено, также немалое число в Казань для отводу в Остзею - одних в службу, а других в работу в Рогервик послано, женска полу и малых робят несколько тысяч к вывозу в русские города розданы и не допущены были к жатве сеянного и к севу нового хлеба, деревни воровские все разорены, и так тем успокоено, что, оставя прежние своевольности, приняли вечную присягу, и таким образом, повинуюся, новое учреждение сами испросили к лучшему в порядке сего почти дикого народа содержанию, во всякой волости старшин (т. е. русских старост), сотников и во всякой деревне десятских определили, провиант и фураж на войско безденежно дают; с них же несколько тысяч лошадей собрано, чего никогда не бывало. И по тем спокойным и прибыточным государству обстоятельствам ныне обретаются в башкирах тамошние гварнизонные и ландмилицкие полки, которые не праздно стоят, но Уфу и другие новые города и городки крепостною работою оканчивать имеют. Также чрез сей случай бытия в Башкирах множество осмотрено разных руд и минералов, для которых первый завод медный и железный при новом городе Табынске, другой на Ике-реке строятся. *Из Оренбурга*: здесь все благополучно, и прошлого лета зачали из кайсацких орд и из Ташкента приезжать для торгу".

В это благополучное время, 14 апреля, умер строитель Оренбурга Кириллов, и доканчивать его дело поручено было Татищеву. В рескрипте ему от 10 мая говорилось: "Мы на ваше вечное радение и доброе искусство всемилостивейше полагаемся и что вы в оной комиссии тщательнейшие свои труды прилагать не оставите, за что вы и о нашей к вам высочайшей милости и действительном награждении всегда обнадежены быть можете, яко же и ныне в знак того вас в наши тайные советники жалуем". Татищеву, между прочим, поручалось, чтоб установленная с хивинцами торговля всячески усиливалась и чтоб киргиз-кайсаки были приласканы и от всяких противных предприятий удержаны. 25 июня Татищев написал кабинет-министрам Остерману и Черкасскому: "С крайним моим прилежанием трудясь, заводы совсем определить не возмог, чему и болезнь мне немало повредила; видя же, что и так надмерно умедлил, опасаясь за умедление ее и в-ства гнева, несмотря на мою болезнь, на носилках поехал до пристани, а докончание заводское поручил советнику г. Хрущову, чтоб, сочиняя, ко мне присылал, и надеюсь в месяц все оное окончится, ибо главные заводы окончили, по которому прочих сочинить уже нетрудно.

При сем же всепокорно нижайше прошу вашего сиятельства, чтоб благоволили о заводах определить указом, ведать ли мне оные или оставить и более не вступаться". Башкирцы все еще поднимались в разных местах, и, приехавши в Мензелинск, Татищев держал совет с Соймоновым, с уфимским воеводою Шемякиным и полковниками о мерах к окончательному потушению мятежа. При этих обсуждениях и решениях Татищев первенствовал не по чину только, но по уму и опытности. В июле Татищев уже писал Остерману и Черкасскому о беспорядках: "Что я к прежним командирам писал и что здесь делалось, то генерал-майор (Соймонов) не знал, а другие запомнили. Слышу от многих, что великие пакости происходят, о чем и прежде к статскому советнику Шемякину по жалобам башкирским на его канцелярию писал, и здесь на некоторых жаловались, а генерал-майор, как человек тихой, не довольно строго в таких делах поступает, а паче, что до него было, и не знает. Також полковник Бордукевич требовал денег на покупку под драгун команды его лошадей, и как я наедине о том с офицеры разговаривал, то сказали, что он башкирских лошадей, отбирая себе, продавал и ныне-де у него близ 100, а несколько сослано к приятелям в деревни. При толковании пунктов Шемякин о воеводах не хотел подписаться и спорил долго тем, что воеводы и подьячие жалованья не имеют и им брать не запрещено, но я дерзнул сказать, что я имею особый указ и если уведою чьи беспорядки, то и без его подписки буду поступать по указу. И генерал-майор ему говорил, чтоб он, не входя в подозрение, конечно, подписался. Хотя сие все делал я по ревности моей к пользе ее и. в-ства, однако ж опасуюсь, чтоб такую смелостью паче данной мне власти не прогневать ее и. в-ство, всепокорно нижайше прошу, если противно явится, высокою вашею ко мне милостию меня охранить и на лучшее наставить".

Кроме совещаний в большом числе членов Татищев признал нужным советоваться о более важных мерах только с Соймоновым, Шемякиным и полковником Тевкелевым. Эти меры он изложил в секретном письме к Соймонову 1) "о наряде башкирцев на службу. Мое мнение: сей наряд весьма бы нужен и полезен был, если бы с весны объявлен был, ибо тогда они не могли отговорки иметь, да и главнейшие воры тому не противное показывали; ныне же видится неудобно для того, что они возмнят, яко бы войска российские против турок бессильны были, и тем могут паче в воровстве укрепиться или, видя поздний наряд, возмнят противное; 2) о положении их в подушный оклад; сие ныне говорить весьма оставить, но быть довольными сбором ясака и за женитьбы лошадей, которое близ того придет; и впредь о подушном окладе скоро думать не надобно, но, когда Исетская провинция и крепости от Сибири к Оренбургу устроятся и им с кайсаками коммуникация перережется, тогда положить на них ясак такой, чтоб с поголовным мало разнствовал; 3) вор Майдар жалуется на старшин, якобы верные грабительством своим новому смятению причину дали, которое, может быть, правда, и потому разумею, что они, воры, бывши в великом собрании, большого вреда русским деревням не чиня без всякого от войск принуждения, разоря токмо мещеряков и старшин, на которых

они наиболее жаловались, в дома возвратились. Что до не порядков, происходящих от офицеров, принадлежит, при толковании одного пункта некоторые, чтоб командирам до башкирских пожитков не касаться, за тяжко поставили, и правда, если бы сие с регулярным неприятелем было; в бунтовщиках же весьма иное состояние, ибо многие невинны находятся. Капитан Житков таким лакомством великий вред сделал тем, что из лакомства верных разорил и побил, которого ее и. в-ство по суду велела казнить смертью. Здесь же майор Бронской таким же случаем великой вред сделал, что, принесших повинную и безоборонных оступя, неколико сот побил, и пожитки себе побрал, который не токмо по указам и уставам не наказан, но и не сужден, а из того многие, увидя, не токмо с повинною не пошли, но и новой бунт воздвигнули, коль же паче известно, что многие командиры для такого лакомства, забыв свою должность, мечутся за пожитками; другие по окончании дела у драгун, козаков и вольницы взятые от воров пожитки обирали и тем у оных охоту отняли; некоторые же полковники, как слышу, видя в полках своих в конях недостаток, избрав башкирских лошадей, продавали и в деревни сослали". Наконец, новый командир нашел, что старый сделал важную ошибку - построил Оренбург на неудобном месте: назначенное для большого города место ежегодно поднимается водою более аршина; по-за Яику надобно идти степью открытою 110 верст, и никогда без конвоя осмелиться нельзя, а по сю сторону Яика прошли великие горы, и объезд не только дальний, но и чрезвычайно трудный. "Надобно город перенести, - писал Татищев, - пока еще многого не построено; кому это в вину причесть, не знаю, ибо инженерные офицеры сказывают, что о неудобствах Кириллову представляли, да слушать не хотел, и офицера искусного в городостроении нет". Татищев обвинял также Кириллова, что при нем канцелярского порядка, как устав повелевает, учинено не было, протокола и журнала порядочно не содержано, списков служителям с их окладами не учинено, и хотя подьячих было немало, но все набраны молодые и малоискусные, а к тому и повесть было неросписано, записок одного дела искать нужно по разным местам. Счеты весьма неправильны, потому что приход и расход был в разных руках и весьма беспорядочен, чрез что учинились проронки, окладных книг учинено не было, давано жалованье все по выпискам, и оттого учинены передачи. В подряде провианта и провоза великие передачи - из корысти или из продерзости, неизвестно. Но, будучи недоволен управлением своего предшественника, Татищев был недоволен и настоящими отношениями своими к Соймонову. "Что до усмирения башкирцев принадлежит, - писал он в декабре 1737 года, - то я сердечно одного желаю и крайне прилежу, но как я власти и команды более не имею, что над определенными в порученную мне комиссию, а прочее все в команде генерал-майора Соймонова, и мне ему повелевать нельзя, да я, где у него сколько людей и что их к тому намерение, не ведаю, хотя я неоднократно репортом не яко командир, но токмо мне для известия требовал, но не получил, а без того мне порядочно рассудить не можно. Он (Соймонов) человек добрый и служил довольно, но притом в рассуждении

весьма медлен и к произвождению холодноват, и для того, может, не все так делается, как надобно, а мне более делать нечего".

Заведенный службою в степь, Татищев должен был встретиться с знаменитым в русской истории явлением - с козачеством, на которое по своей любви к строгому порядку и определенности отношений взглянул сурово. В конце 1737 года, находясь в Самаре, он подал доклад "о беспорядках Яицкого войска". "Старших у них чрезвычайно много, и выбираются большею частью люди безграмотные. По-моему, лучше им определить одного войскового атамана, двух есаулов, одного писаря, а у тысячи козаков одного полковника или старшину; так как козаков с захребетниками считают от семи до десяти тысяч человек, то старшин не может быть более семи. В круг их приходит множество, где и при слушании указов бесчинство, брани и крики бывают, и часто случается, что атаман унять не в состоянии: не лучше ли исполнять указы в избе, а не в кругу атаману с есаулами и старшинами; если же случится войсковое важное дело, то призывать сотников, а если будет дело о наряде войска или какое скорое объявление, тогда созывать в круг и десятников, а всех не созывать, чрез что у них чины будут в большом почтении, а подлость в страхе. Жалованье им небольшое, но и то по причине великих проездов с великою убавкою приходит, вместо 3000 в год достается по семи или осьми сот рублей. Наряды в службу у них беспорядочные: всегда нанимают козаков договором, причем атаман и старшины нанимают для своей корысти самых бездельных захребетников, художонных и безоружных; лучше разделить их на полки и наряду быть из сотен по очереди. Всего хуже то, что они никакого для суда закона и для правления устава не имеют, поступают по своевольству, не рассуждая, что им полезно или вредно: по обычаю, за бездельные дела казнят смертью, а важными пренебрегают. Не соизволено ль будет главному командиру или губернатору, собрав лучших старшин, сочинить общий устав для донских, яицких, гребенских и волжских козаков, а так как для их многих застарелых вольностей все непорядки вдруг уничтожить и добрый наряд ввести не очень удобно, то новый устав сначала объявить от губернатора или генерала, чтоб по воле ее величества всегда переменить или пополнить было можно". Оканчивает Татищев свой доклад обычным припевом: "Я усмотрел, что атаман и старшины грамоте не умеют, законов знать не могут и потому войсковою и другие писаря что хотят, то пишут, отчего великие беспорядки происходят; поэтому не соизволено ль будет повелеть им учредить школы с объявлением, что впредь безграмотных ни в какие достоинства не производить".

1738 год для Татищева начался очень неприятно: воровские башкирцы разоряли деревни верных башкирцев, а денег на жалованье войску и покупку провианта Татищев не получал: "Я пришел в крайнюю печаль и вижу, что мне из сего не иначе как конечная погибель воспоследует, понеже без денег, провианта, нужной амуниции, припасов и без довольства людей выступить невозможно". С другой стороны, занимало его тяжелое

следственное дело о беспорядках уфимского воеводы Шемякина, который, пришедши однажды в дом к Татищеву с великим невежеством, хотел с ним браниться, чтоб иметь причину отвести его от следствия, но Татищев сдержался и спокойно велел ему уйти; тогда Шемякин объявил, что знает за Татищевым важные интересные дела, и требовал, чтоб для их объявления его отправили в Сенат или к казанскому губернатору: "Я знаю за ним такие важные дела, что или мне, или ему голову отрубят". Из Петербурга прислали указ навеститься обстоятельно о турецких посланцах к киргиз-кайсакам и бдительно смотреть за казанскими татарами, всюду разъезжавшими по торговым делам. Татищев отвечал, что посланцы всего удобнее могли проехать чрез Астрахань и Яик, а письмо легко переслать чрез казанских и уфимских татар; Татищев давал знать, что на Яике между козаками много некрещеных татар, которые на Дон ездят с торгами, и усмотреть за ними атаману нельзя, потому что правление их беспорядочное и своевольное. Синод дал знать в Кабинет о жалобе протопопа при Оренбургской комиссии и ректора Антипы Мартинианова, которого Татищев в Самаре без объявления вины, презрев власть св. Синода, посадил с утра на цепь, водил по улице, как бы напоказ бывшим тогда в Оренбурге киргиз-кайсацким посланцам, и, приведши в канцелярию, держал на цепи до вечерен. Синод представлял, что Татищеву этого чинить весьма не надлежало, и требовал сатисфакции. Татищев по этому случаю писал императрице: "На оное я никакого пред вашим и. в-ством извинения принести не могу, но, признав меня виновна, предаюсь во всевластное вашего и. в-ства наказание, ибо я оное сам признаю, что учинил противно, но при сем и обстоятельства того не ко оправданию моему, но токмо ко известию всеподданнейше доношу. Как я весьма болен был, пришед ко мне хозяин оного протопопа, бил челом, что протопоп противно запрещению велел баню в доме его затопить и, зажегши оную, разломал, по которому я к нему послал адъютанта и велел говорить, что он учинил непристойно и чтоб ту баню починил. Назавтра пришел оный хозяин, жаловался паки, что протопоп жену его обидел непристойными словами и поступками, по которому я, его, протопопа, призвав, пристойными словами представлял, чтоб он вел себя, как его чести пристойно, ведая, что я таким продерзостям терпеть не буду, при котором он жаловался на хозяина, яко бы его бранит непристойно, и потом оный протопоп, пришед в дом свой, хозяйку оную бил запоркою, которая ко мне с матерью прибежала разбитая, и сие привело меня в сердце, что я, видя, еже судить его некому, велел его призвать к себе, и, покричав, велел посадить в канцелярии на цепь, доколе проспится, ибо было после обеда, и был держан часа два или три, но потом, его свобода, хозяина отослал к воеводе и велел за брань того протопопа достойно наказать, но, чтоб впредь ту причину пресечь, велел его, протопопа, перевести на иной двор, по котором он, протопоп, пришед ко мне, просил прощения и чтоб я в Синод не доносил, и я для избежания впредь ему поношения о жалобе хозяйкиной не токмо в Синод не доносил, но и в канцелярии записать не велел. Потом его неоднократно просил, чтоб он ходил ко мне чаще обедать, и всегда, когда придет, давал ему стул, с

которого он, по-видимому, содержал себя изрядно, и я его употребил себе в духовника, но потом просил он меня, чтоб я здешним попам приходским запретил к офицерам и другим порученной мне команды людям с потребою ходить, в котором я ему, яко непристойном, отказал, и сие привело его на меня жаловаться; он же объявил несколько попов пришлых с собою, желающих служить при комиссии, и требовал на них за треть жалованья, но так как из оных некоторые ни ставленных, ни свидетельства о себе не имели и приняты без моего известия, то я, ни словом его не оскорбя, велел тех попов допросить и в жалованье отказать. Апреля 5 числа пришел он, протопоп, пьян в избу хозяина своего, ударил капрала в щеку, по которому козаки, не утерпя, довольно его, протопопа, побили. Понеже оный протопоп хотя и не часто пьян бывает, но когда напьется, то редко без драки проходит, о чем здесь всем известно, но за страх довольно того берегся, ныне же если дать волю, то опасно большого между чужестранцы стыда; по артикулу же положено для смирения отсылать их к духовному суду, но здесь никакого духовного суда в близости нет, на что всеподданнейше прошу повеления, как повелите в таких случаях с ними впредь поступать".

Наконец, обнаружилась опасность и со стороны киргизов. Воры-башкирцы, видя, что не могут бороться с русскими собственными силами, обратились к киргизскому хану Абул-Хаиру, признавая его своим главою. Абул-Хаир прельстился этою честью, женился на башкирке и начал обнаруживать враждебные намерения относительно России. В конце апреля он привел с собою к Оренбургу немалое число воров-башкирцев, но челобитью которых забрал много верных башкирцев, правил на них скот и на себя заставлял платить штраф. Начальствовавший в Оренбурге майор Останков послал ему сказать, чтоб он не судил по челобитью воров, но хан, вынув саблю, отвечал: "Город мой и для меня построен, а кто не послушает, тому голову отрублю". 9 мая Татищев писал императрице: "О успокоении башкирцев паче всякого чаяния весь мой должный труд уничтожился, и они начали новые нападения чинить. Так как многие их старшины пишут, что все покорится, если штрафных лошадей сложить, то я писал к генералу Соймонову обнадежить, что штраф снимется, если они пришлют знатных людей и будут о том просить, а между тем нет способа силою их к покорности принудить. По посланному от меня ордеру майор Останков бывших при Абул-Хаир-хане из главных воровских старшин Кусяпа да Ахмата-муллу, да посланных от Абул-Хаир-хана в Кайсаки четырех башкирцев схватил и содержит под крепким караулом, и хотя они показали, что Абул-Хаир не только их не успокоил, но возмущал, штрафа платить не велел и сына своего в Башкирии ханом хотел сделать, однако я, опасаясь, чтоб он, хан, осердясь или испугавшись, не отъехал и больше пакости не сделал, писал к нему наскоро, что будто бы майор тех старшин схватил без указа, и обещал наказать виноватого, а к майору писал, чтоб их крепко содержал и хана более прежнего довольствовал. Хотя Абул-Хаир-хан свою присягу нарушил, однако я, взирая на глупую их дикость и опасаясь, чтоб других их салтанов и ханов жестокостью не остращать,

намерен с ним ласково обойтись и о погрешностях его разговором выговорить. Хотя я, невзирая на великие во всем недостатки и будучи болен, крайне прилежу, чтоб скорее в поход выступить и сим воров к покорности принудить, но большое препятствие в том, что офицеров и рядовых очень много больных, чему причиною воздух и здешние серные воды".

На все эти донесения Татищев получил грозный указ: "Мы с великим удивлением и неудовольствием усмотрели, коим образом от бунтующих башкирцев новые замешания начались, а наипаче что и хан Абул-Хаир с ними соединился и имеют злое намерение атаковать Оренбург, чего мы никогда не надеялись, ибо вы в прежних своих доношениях именно обнадеживали весь башкирский народ добрым способом в усмирение и должное покорение привести и что уже многие с повинными приходят и штрафных лошадей приводят. Башкирцев в такое своеволие привело и Абул-Хаир-хан к их стороне стал быть преклонен оттого, что как вы, так и генерал-майор Соймонов в удобное время, когда еще у башкирцев лошади были не накормлены, нимало по поиску над ними не учинили и таким своим мешканием дали им повод новые беспокойства заводить. Что же доносит, якобы ваш поход остановился за неприсылкою денег, то когда провиант и ружья есть, то хотя б в прочем и недостаток был, за тем останавливаться и времени терять не надлежало, а вам известно, какой важности сие дело есть. Сим нашим указом вам накрепчайше подтверждаем, что всемерно надлежит вам со всею своею командою к Оренбургу поспешать без всякого отлагательства, а ежели над оным городом учинится гибель или людям урон, то особливо вы в том пред нами дадите ответ, ибо мы оную крепость отнюдь потерять не хотим".

Татищев поспешил походом, застал в Оренбурге все благополучно, свиделся с Абул-Хаиром, заставил его подтвердить свое подданство России, хотя хан долго не соглашался подписываться рабом. Абул-Хаир говорил: "Человек живет в свете и детьми память о себе оставляет, но сия память и скоту равна есть, а честь, приобретенная человеку, вовеки не умирает, и я тем ныне наиболее должен радоваться, что мое имя в так великом и славном государстве известно". Татищев сказал на это: "Не только у нас, но и во всей Европе будет известно, потому что у нас такие дела напечатывают и всюду разошлют". Киргизы подрались за подарки, данные им Татищевым, Абул-Хаир сказал при этом: "Пожалуй, не осуди, что этот дикий народ так бесчинен, а мне очень приятно, что они теперь тем хвастают, чему прежде смеялись и ругались". Татищев писал кабинет-министрам: "Сей народ столько глуп, что без стыда просят и за столом наставленные конфеты, собирая, в платки вяжут, а тарелки, ложки, ножи серебряные класть пред ними нельзя, и хотя некоторые из знатных тут их бранят, но мало помогает; да и хан, которому я быков, баранов, круп и прочего посылал, не постыдился все это прислать продавать и у меня опять просить, и я принужден вареное и жареное мясо ежедневно посылать. Хан, по-видимому, великое усердие и покорность имеет, ибо его в том польза,

но очень непостоянен, его же мало и слушают, а более всех силы имеют Средней орды Жанибек-батырь да Чурек, а в Меньшой - Букей-бай-батырь, которых я, как казенным, так и моим довольно одаря, отпустил. По прибытии моем здешнюю крепость нашел я в ужасном состоянии: оплетена была хворостом, и ров полтора аршина ширины, а сажень на 50 и рва небыло, так что зимою волки в городе лошадей поедали. Ныне, сколько время допустило, поправил, ров выкопал 5 аршин ширины, 3 глубины и едва не весь вал снаружи дерном заклал; только с сожалением вижу, как у нас инженерные офицеры в практике искусства и рассуждения не имеют. В заключение принужден донести, что денег при комиссии ничего нет и солдаты без жалованья целый год претерпевают крайнюю нужду, также провиантским подрядчикам заплатить нечем".

В конце августа Татищев отправил с купеческим караваном поручика Миллера в Ташкент, давши ему наказ вытребовать бес пошлинную для русских купцов торговлю и постараться съездить в бухарские города. За купцами строго смотреть, чтоб жили смирно, с тамошними купцами правильно и порядочно поступали и никаких обманов не употребляли. По дороге реки, озера, горы примечать и записывать с расстоянием, особливо когда будет на Сыр-Дарье. В Ташкенте разведывать о состоянии, силе и власти хана, о силе, власти и порядках магистрата; смотреть, какие товары русские и в каком количестве там могут быть проданы, какие товары, нам нужные, у них есть или сделаны быть могут, сколько в год золота получить можно и дорогих камней. Русским купцам иметь крепкое согласие и поодиночке не торговаться, но с согласия всех. Старательно наведываться о русских пленных и требовать от хана их освобождения; когда не согласится, то выкупать, если не очень дорого будут просить. Если узнается о золотой или серебряной руде, то достать несколько фунтов я место, где находится, записать. Между прочими товарами стараться купить бумаги хлопчатой, тонкой, пряденой пуд 10, особливо, если можно, крашеной, разных цветов, только бы крашены было не линеее, и наведаться, где у них лучше всего прядут и красят. Говорить тамошним купцам, чтоб привозили шерсти верблюжьей хотя по 500 пудов, особливо белой, также бумажные полотна и хорошие выбойки и шелковые материи широкие и хороших цветов; показывать им немецкие выбойки и, как лучше товары делать, разговорами наставлять.

Что касается башкирцев, то они разбойничали только тогда, когда с русской, стороны движение останавливалось или замедлялось, и тотчас же являлись с повинною, как скоро видели наступление русских полков; так и теперь поход Соймонова в горы заставил их смириться и выдать главного возмутителя Бепеню. В конце 1738 года, поздравляя кабинет-министров с усмирением башкирцев, Татищев просился приехать в Петербург, что ему и было дозволено. Приехавши в Петербург, Татищев 20 февраля подал императрице доношение, в котором настаивал, что место, выбранное Кирилловым для Оренбурга, неудобно: место низкое, отделенное от всех русских городов высокими горами, бесплодное, безлесное; что удобнее

место найдено им, Татищевым, в 140 верстах, при урочище Красная Гора. Кабинет-министры, обсудив донесение Татищева вместе с ним, решили: город Оренбург строить при Красной Горе, а прежний Оренбург называть Орскою крепостью; в помощь Татищеву определить двоих советников да асессора; строение на Аральском море города отложить до времени. Но вне Кабинета распорядились иначе: вместо Татищева назначен был генерал-лейтенант князь Василий Урусов, которому поручили все башкирские дела, потому что Соймонов переводился вице-губернатором в Казань.

Князь Урусов в марте 1740 года донес из Самары, что между башкирцами, именно по Сибирской дороге, явился новый возмутитель, по одним известиям - турок, по другим - кубанец именем Салтан-Гирей, прозвищем Карасакал, или Черная Борода. Он разглашает, что имеет силы 82000 человек, живет на реке Кубани, а старое его жилище в Башкирии, и потому старается возвратить себе прежние юрты. Услыхав о башкирском разорении, он приехал с 8000 кубанского войска, с 2000 калмыков и с 500 киргизов; войско это он оставил в вершинах реки Эмбы, а сам приехал для проведения о башкирском житье-бытье; войско его придет скоро и вместе с башкирцами станет разорять русские жилища. Башкирцы верят обманщику, волнуются и провозгласили уже Карасакала ханом. В апреле Урусов извещал, что Карасакал посланными против него партиями не только не искоренен, но усиливается большим числом воровских башкирцев, которые уже начали нападать на верных. Впрочем, воры, услышав о движении русских войск, очень жалеют, что рано объявили Карасакала и начали рано бунтовать; говорят, что если к Карасакалу обещанного им войска не будет, то они его выдадут русскому начальству. Урусов писал: "Вышеписанные обстоятельства довольно показывают, что то происшедшее замешание инако прекращено быть не может, как только силою оружия и причинением тем вора *потомственно* страха, ибо много оказыванное к ним высочайшее милосердие в нечувствительных их воровских сердцах, почитай, никакой желаемой спокойности не учинило, да и всегда такие милосердые наказания по жестокосердию сего народа к лучшему споспешествовать едва могут ли". В мае командовавший русским отрядом с Сибирской стороны полковник Арсеньев поймал главнейшего вора и зачинщика башкирца Аландзиангула, который показал, что Карасакал вовсе не кубанец, а башкирец Ногайской дороги, у которого там дом, мать, братья, жена и дети, а султаном и ханом назвал его он, Аландзиангул, с другими воровскими башкирцами для возмущения прочих; они же разгласили и о войске Карасакаловом, которого никогда не бывало. В июне Карасакал, испугавшись сильных движений русских войск, перешел с своею шайкою Яик и побежал в степь, за ним погнался подполковник Павлуцкий и близ Тобола нанес несколько поражений, но вор ушел далее в степь. Павлуцкий не мог за ним гнаться за присталью лошадей. В июле Урусов получил известие, что Карасакал пойман киргизами. Тогда для *потомственного* страха всему башкирскому народу перевешали и отрубили головы 170 башкирцам, захваченным на возмущении, да в разных командах прежде казнено было 432 человека;

роздано разных чинов людям 1862, отослано в остзейские полки и во флот 135, воровских деревень пожжено 107.

Но для утверждения своей власти в отдаленных восточных окраинах правительство считало нужным казнить не одних бунтующих башкирцев. Сибирь продолжала быть театром вопиющих воеводских злоупотреблений. В 1736 году Сибирь, находившаяся до сих пор вся в управлении одного губернатора, разделена была относительно управления на две части - западную и восточную; в восточную часть, в Иркутскую провинцию, был назначен вице-губернатор, совершенно независимый от губернатора западной Сибири, жившего в Тобольске; оба были подчинены Сибирскому приказу. В том же году отсечена была голова иркутскому вице-губернатору Жолобову за взятки, за дружеское обращение с шельмованными людьми, которые были сосланы за важные вины; против офицеров, посланных арестовать его, обнажил шпагу; пренебрегал донесениями о важных делах, сам брал с ясных людей взятки, а казенного сбора упустил 8230 соболей; тайно провозил товары, с крестьян сбирал подати на себя, удерживал козацкое жалованье; китайских перебежчиков за взятки не высылал за границу в противность мирного договора; отбирал у дворян земли и отдавал своевольно пашенным крестьянам за взятки; беспорядочными поступками нажил 34821 рубль, пытал безвинно, жег огнем. В начале 1739 года дан был Сенату любопытный указ относительно Сибири: "Во многих городах Сибирской губернии определены воеводами из тамошних обывателей, а именно: из купечества и козаков и прочих тому подобных, которые браны в рекруты и дослужились офицерских рангов, в том числе и не умеющие грамоте, а иные, не служа, написаны из козаков в дворяне и воеводы, також и бывшие у некоторых персон в холопстве, да и такие, которые бывали в розысках и наказаниях, а потом чрез их происки воеводами ж определены, и понеже оные люди к таким делам проиыскивают не для того, чтоб им труд и радение показать, но чтоб только самим обогатиться, и потому в правлении дел и доброго порядка и пополнения государственных доходов ожидать от них невозможно. Того ради указали мы в оную Сибирскую губернию выбрать воеводами из знатного шляхетства добрых и пожиточных и совестных людей и, росписав, кому из них в котором городе быть, отправить туда без всякого замедления".

Между тем хлопотали об извлечении возможных выгод из соседства Сибири с Восточным океаном. Капитан-командир Беринг по возвращении из своего путешествия, которым подтвердилась отдельность Азии от Америки, представил, что далее Оста море волнами поднимается, также и на берег острова Караганского выбросило большой сосновый лес, который в Камчатке не растет, поэтому он предполагает, что Америка или другие между нею и Азиею лежащие земли недалеко от Камчатки, и если подлинно так, то можно с ними установить торговлю. По этому представлению Сенат приказал: идти ему, Берингу, на морских судах для проведования новых земель, лежащих между Америкою и Камчаткою,

также островов, идущих от Камчатского носа к Японии, для установления торгов и наложения ясака на народы, никому не подвластные; только того накрепко остерегаться, чтоб не зайти в такие американские и азиатские места, которые уже находятся под владением европейских государей или китайского богдыхана и японского хана, чтоб не возбудить подозрения и не открыть своим приездом пути к камчатским берегам, у которых, при нынешнем тамошнем малолюдстве, они могут занять нужные пристани. В Охотске Берингу велено было увеличить народонаселение, завести хлебопашество и пристань с малою судовой верфию; к отправленным из Адмиралтейства троим штурманам и шести матросам придать молодых козацких сыновей и обучать их морскому ходу, чтоб там своих штурманов и матросов завести; устроить в Охотске школу не для одной грамоты, но и для цифири и навигации. Морские суда Беринг должен был строить на реке Камчатке или где найдет удобнее. Командиры должны были смотреть накрепко, чтоб камчадалы больных из своих домов или юрт не выбрасывали, сами себя не умерщвляли, утопающих спасали. Для исследования земель по берегам Северного моря Беринг должен был послать добрых и знающих людей водою или сухим путем.

Заботились об охране берегов Восточного океана, но скоро движения Швеции, подогреваемые Францией, заставили заботиться о безопасности балтийских берегов, приобретенных недавно с такими усилиями.

В начале 1735 года Мих. Петр. Бестужев-Рюмин прислал своему двору содержание ответа секретной комиссии на секретные предложения короля. Здесь относительно России говорилось, что эта держава заслуживает великого внимания: "Она похитила у нас все наши крепости и защиты, привела нас в нестерпимую зависимость от себя и в такое опасное положение, что и сама столица подвержена ее нападениям и угрозам; поэтому справедливо принимать против нее всякие меры, ибо в ней мы имеем сильного и насилующего соседа, если государство наше в прежнее состояние и безопасность не приведется. Но так как наше оборонительное состояние слабо и недостаточно, то необходимость требует примечать конъюнктуры, ибо для получения назад потерянных провинций кроме датского союза надобны субсидии и помощь других наций; конъюнктуры в настоящее время оказываются неудобными, следовательно, всего лучше оказывать России доверенность и дружбу. Нужно избегать, сколько можно, возобновления союза, но когда срок договора окончится, то в воле короля и Сената поступить, смотря по обстоятельствам. Так как Россия без просьбы в польские беспокойства вмешалась и низвергает там королей и ставит новых, что подобает одному всевышнему, притом стеснила вольности нации и неслыханные насилия причинила, поэтому возбудила против себя зависть и ненависть всех благонамеренных держав. Эти чувства, может быть, вскоре выйдут наружу, и тогда Швеции надобно иметь свободные руки, не связанные никаким союзным договором с Россиею. Пруссия - непостоянный, своекорыстный и очень ненадежный сосед. Польша своим несчастным состоянием подает Швеции пример, что могут произвести

несогласие и своекорыстие, особенно при королевском избрании. Шведский интерес требует защищать короля Станислава и Польшу как для общей свободы, так и для сохранения французской дружбы. Надобно и другим державам открыть глаза насчет поступка России с послом Монти вопреки народному праву, чтоб узнали русскую гордость и безмерную силу. Французскую доверенность и дружбу надобно всякими мерами сохранять и утверждать: наш общий с Франциею интерес усилен теперь защитою польской вольности, и хотя Франция не раз охраняла шведский интерес не так, как должно, однако во всей Европе она для нас надежнейшая и полезнейшая держава, одна в состоянии давать нам достаточные субсидии и морем давать помощь. Отношения к Турции у Швеции почти одинаковы с отношениями к Франции: дружба ее нам полезна для сокращения русской безмерной силы, поэтому мы всячески должны стараться сохранять и усиливать дружбу с Портою, и надобно как можно скорее отправить туда аккредитованного министра".

Указания на неблагоприятные конъюнктуры для разрыва с Россиею не нравились горячим патриотам; один член секретной комиссии говорил: "Надобно жалеть, что мы нынешними конъюнктурами не пользовались и войска на помощь Станиславу не послали, особенно в то время, когда город Данциг еще не покорился; мы все ждем революции в России, ждем уже 14 лет и все не дождемся; видно, мы до тех пор будем ждать, когда небо на Россию упадет и всех подавит; тогда нам полезная конъюнктура будет".

Вслед за этими известиями Бестужев донес, что французский посол предложил 500000 ежегодных субсидий с условием, чтоб Швеция не вступала ни в какие обязательства с врагами Франции. Бестужев начал всюду внушать, что это условие не только тяжело, но и бесчестно, потому что Франция хочет Швеции связать руки и распоряжаться ею. Бестужев сильно сердился на Англию, которая не хотела соперничать с Франциею в предложении субсидий. "От английского двора, - писал он, - по сие время ничего нет, и богу известно, когда от него что родится; трудно понять, почему Англия так долго медлит своими предложениями; если с английской стороны и теперь так же слабо будет поступлено, как и на прошлом сейме, то король против воли принужден будет принять французские субсидии". Король на охоте открыл Бестужеву и цесарскому министру, что Франция и ему, как ландграфу гессенскому, предложила особливые субсидии, только он такой дал ответ, что в другой раз не заикнутся о том более. "Граф Горн, - писал Бестужев, - по-прежнему у короля в кредит приходит; этот министр теперь со мной очень ласков и откровенен, и я всячески склоняю его к русской стороне". На предложения французского посла Сенат отвечал, что за предложенные субсидии Швеция обещает не заключать наступательных союзов против Франции, но договоры, которые Швеция имеет теперь с другими державами, остаются в прежней силе; также Швеция сохраняет за собою право и впредь вступать в обязательства со всеми державами, с какими заблагорассудит, и

возобновлять старые договоры. Французский посол остался очень недоволен этим ответом. В апреле Бестужев писал, что был он у графа Горна вместе с цесарским, саксонским и английским министрами и в это же время приехал к нему король нечаянно, а за ним и французский посол. Увидав такое общество, француз очень смутился, и, когда король поехал домой и все гости проводили его до кареты, один французский посол не двинулся с места. Горн сказал по этому случаю Бестужеву: "Король и так посла французского любит, а после такого поступка особенно будет его уважать".

В июне французский посол объявил, что его правительство склоняется на все шведские требования с одним условием, чтоб Швеция никому не давала своих войск против Франции. Эта нечаянная французская податливость чрезвычайно встревожила короля и министерство: никогда они не воображали, чтоб Франция согласилась давать такие большие субсидии безо всякой для себя пользы. Граф Горн сказал Бестужеву, что скупость английского двора заставляет их против воли принять французские субсидии. Его намерение было заключить сначала договор с Англиею, а потом возобновить договор с Россиею, но так как с английской стороны теперь более ожидать нечего, то он приглашает его, Бестужева, сделать формальное предложение о возобновлении союза, чего король и все благонамеренные люди сильно желают. Короля нашел Бестужев неутешным и в сильном раздражении оттого, что насильно принужден принять французские субсидии. Бестужев посоветовался с цесарским и английским министрами, и те объявили ему, что теперь настоящее время делать предложение о возобновлении союза. Предложение было сделано немедленно, принято Сенатом единодушно, и назначены были комиссары для конференций с Бестужевым об условиях союза. Французский посол явно показывал свое неудовольствие и с своими сторонниками употреблял всевозможные способы воспрепятствовать русскому делу, внушал не только в Стокгольме, но и в провинции, разослал письма с нареканиями на графа Горна и министерство, что они возобновлением союза с Россиею отнимают у Швеции французские субсидии. В конференциях потребовали от Бестужева внесения в договор одного нового пункта - что король и Корона Шведская происшедшие в Польше беспокойства и их следствия не признают за "союзный случай" (*casus foederis*), т. е. Россия не имеет права требовать у Швеции войска для войны с Польшею по этому случаю. Бестужев соглашался подписать договор только б *надежде* на апробацию императрицы. Горн сказал ему, что если б против него не употреблялось столько происков и коварств, то он бы и не подумал требовать такой предосторожности, ибо уверен, что сама императрица никогда не признает польского дела за *casus foederis*: и если Бестужев подпишет договор с прибавкою в *надежде* на апробацию императрицы, то у французской партии останется еще мысль о возможности остановить заключение русского договора, но если он будет подписан немедленно безо всяких оговорок, то он, Горн, с своими надеется, что Франция перервет переговоры о субсидиях и Швеция останется с свободными руками

Бестужев согласился подписать безо всякой оговорки. Но между тем Кастежа требовал, чтоб в Сенате прочитано было письмо к нему от хранителя печати; в письме говорилось, чтоб Швеция отнюдь не возобновляла союза с Россиею, ибо шведские министры сами понимают, какой вред принесет это Станиславу Лещинскому; притом известно, что Россия от польской войны и от посылки вспомогательного войска в Германию так ослабела, что принуждена возвратит Персии завоеванные провинции, и что турки намерены объявить России войну. Действительно, получено было известие из Константинополя о готовящемся предложении Порты, что если Швеция вступит с нею в наступательный союз, то Порта не только откажется от должных ей Швециею денег, но еще будет платить по 500000 ежегодных субсидий. На этом основании сенаторы французской партии представляли, что не следует спешить заключением союза с Россиею, а надобно подождать турецкого предложения. Но Горн возражал, что не должно обращать внимания на такие слухи, ибо турецкое непостоянство хорошо известно, да и прилично ли Короне Шведской вступать в союз с неверными, и так как переговоры с русским послом уже кончены, то прилично ли оттягивать заключение договора без всякой важной причины и возбуждать справедливое подозрение России. Король сильно поддерживал Горна, и после многих споров большинство голосов решило, чтоб на другой же день заключить договор с Бестужевым, что и сделано 5 августа. Французской партии осталось срывать свое сердце на комиссарах, бывших в конференции с Бестужевым разглашая, что все они были подкуплены. Правительство поспешило напечатать договор, но противная партия скупала экземпляры и жгла их.

В начале 1736 года Бестужев доносил о торжестве русской партии в Сенате по поводу турецких и французских дел, но это торжество только приводило в большее ожесточение противную партию, которая употребляла все средства, чтоб отнять доверие народа у министерства. Когда Горн объявил французскому посланнику, что необходимость заставила короля согласиться на возобновление союза с Россиею, который, однако, не так связывает ему руки, чтоб не было возможности при удобном случае удовлетворить желаньям Франции, то граф Кастежа в ответ осыпал Горна упреками, называя возобновление союза с Россиею поступком опрометчивым, оскорбительным для короля французского, постыдным для Швеции. Кастежа и Горн поговорили так крупно, что после того уже не видались, разве очень редко при дворе. Кастежа начал всюду бить в набат против Горна и подал государственному секретарю меморию, в которой жаловался королю на излишнюю поспешность его министра и грозился дать знать о деле сейму, будучи уверен, что государственные чины не одобряют договора с Россиею. Король, оскорбленный этою угрозою, потребовал, чтоб французское правительство отозвало Кастежа, что и было исполнено, но Кастежа действовал не один: взволнованная им молодежь отзывалась с презрением о короле, Горне и всей его партии. Один иностранный министр заметил Горну, что надобно остановить дерзость молодых людей, но Горн отвечал: "Надобно оставить нашей молодежи

удовольствие вести войну с министерством и с Россиею за карточным столом. Безделица может превратиться во что-нибудь важное, если заняться ею. Вино из погреба французского посланника отуманило нашу молодежь, надобно дать ей вытрезвиться". Но сторону молодежи приняли стокгольмские дамы. Начали пить два тоста, которые послужили отметкою партий. Дамы, стоявшие за войну, пили тост: "Was wir lieben"; во главе этой партии стояли три дамы: графиня Ливен, графиня Делагарди и баронесса Будденброк. Графиня Бонде пила при тосте: "Ich denk mirs" - и была представительницею мирной партии. Не проходило ни одной пирушки, где бы различие между этими двумя тостами не было причиною ссор и поединков. Молодые люди начали дарить воинственным дамам ленты, сложенные в форме мужской шляпы, также табакерки и игольники в форме шляп для означения героизма этих дам. Отсюда воинственная партия получила название *партии шляп* в отличие от противной, мирной партии, которой дали название *партии ночных колпаков*. Из верхних слоев два тоста проникли и в нижние, и скоро не было ни одного мещанского дома, куда бы они не внесли раздора, не порознили членов семейства; из мещанских домов тосты перешли к гвардейским солдатам и черни: везде пили, везде спорили. Середина 1736 года прошла тихо, но в конце пошел опять разговор о турецких предложениях, что если Швеция захочет отвлечь русские силы объявлением войны, то Порта обещает дать столько денег, сколько Швеция потребует, и до тех пор не положит оружия, пока шведы отберут у России все свои потерянные провинции; французский посол начал при этом внушать, что Франция готова давать субсидии не только по четвертям года, но вдруг на целый год, если только Швеция предпримет что-нибудь против России. Но ничто не встревожило так Бестужева, как разглашение о чрезвычайном сейме, потому что если б противная партия настояла на его сознании, то это было бы знаком падения русской стороны. Бестужев обратился к Горну и получил такой ответ: "Сами можете легко рассудить, что с турецкой стороны нельзя обойтись без попытки поссорить нас с Россиею к чему здешние турки и французы не перестают употреблять всевозможные интриги. Но, слава богу, король и большая часть сенаторов твердо стоят в одном мнении со мною; король говорит что для войны надобно иметь важные и справедливые причины и добрую совесть, чтоб получить божие благословение; потом надобно иметь все средства к войне, не надеясь на помощь и субсидии других держав. Что же касается чрезвычайного сейма, то будьте покойны и не удостоивайте противную партию чести вашего подозрения. Но когда обыкновенный сейм будет, то ее величеств изволила бы не оставить здесь своих друзей и поддерживать их чтоб противную партию совсем ниспровергнуть". Бестужев обнадежил его, что императрица крепко будет поддерживать своих друзей на будущем сейме. В Сенате Горн говорил: "Еще у нас в свежей памяти, как турки при Пруте, несмотря на все представления покойного короля, заключили мир с Россиею с исключением Швеции. Можно ли полагаться на неверных? Притом расстояния так велики, что и в полгода не узнаем о заключении мира между Россиею и Турциею, а заключение мира зависит от России:

отдаст туркам Азов, и мир заключен. Россия свою пользу хорошо знает: скорее туркам что-нибудь уступит, чем приведет в опасность приобретенные от нас провинции, свой флот, свою столицу, стоившую столько людей и денег; король датский должен будет помогать России вследствие оборонительного союза, а король прусский ждет только случая вырвать из рук наших Штральзунд. Морские державы для торговли не охотно будут видеть войну на севере и нападчику помогать не будут".

В Петербурге сочли нужным наградить Горна за такие услуги, и к Бестужеву отправлены были для него богатые подарки. Горн долго отговаривался принять их; наконец принял с такою предосторожностью: гофмейстер Горна, присланный для принятия подарков к Бестужеву, представил последнему ассигнацию на банк, как будто вещи выписаны Бестужевым для Горна за деньги; Бестужев принял ассигнацию, дал гофмейстеру квитанцию в ее получении и на другой день отвез Горну его ассигнацию назад. Это было в апреле 1737 года, а в апреле 1738 года Бестужев доносил, что после восстановления сношений между Россией и Францией и видя дружественное обхождение его, Бестужева, с новым французским послом С. - Северином противная партия очень ослабела. Она никак не ожидала, чтоб Франция предложила свое посредничество в примирении России с Портою. Некоторые из этой партии были у С. - Северина с представлениями о своих делах и получили такой ответ, что он прислан не партии заводить, а аккредитован у короля и министерства и пока между шведами будут происходить несогласия, Франция Швециею пользоваться не может. Но в начале мая Бестужев донес, что со стороны Порты возобновлено предложение о наступательном союзе против России. Горн, разговаривая с ним об этом, сказал: "Я ни султана, ни визиря, ни Вонневаля, ни Гилленборга, ни Гепкина никогда не любил, а теперь и больше их возненавидел; надеюсь с божиею помощью, что все они с долгим носом останутся, а вы с своими друзьями должны стараться, чтоб в маршалы будущего сейма выбрали камер-президента Палмфельда: человек он доброжелательный и добрый патриот, потому что противная партия, разумеется, не дремлет и употребляет все на свете для ниспровержения министерства". Французский посол заподозрил себя тем, что начал выхвалять поведение шведских агентов в Константинополе Гепкина и Карльсона, которые были жаркими приверженцами французской партии и турецкого союза; пошел также слух, что С. - Северин помогает противной министерству партии в выборе сеймового маршала.

Наступило самое заботливое время - открытие сейма, и при таких важных обстоятельствах. Что сейм будет не чета прежним, показывало уже то, что на него съехалось такое множество дворянства, какого не бывало прежде, особенно приехало много финляндцев, которые вообще обнаруживали желание мира, но офицеры и стокгольмская молодежь по кофейным и погребкам требовали войны и ниспровержения министерства. Бестужев надеялся, что министерство победит, если только король будет постоянно на его стороне. Соперником Палмфельда, кандидатом противной партии

был граф Тессин. Королева, надеясь на свою популярность, велела объявить дворянству, что она не желает избрания Тессина. Как скоро это стало известно, то на площади, где обыкновенно дворянство сходилось для совещаний, поднялся страшный шум и крик: кричали, что нарушается их воля, королева запрещает выбирать того, кого они хотят, вследствие чего партия Тессина сейчас же увеличилась, и Тессин был выбран 525 голосами, тогда как Палмфельд получил только 140, какого большинства ни на одном сейме не было. После такой неизвинительной ошибки двору и министерству оставалось одно средство - хлопотать, чтоб по крайней мере в секретную комиссию были выбраны люди их стороны. Но удар следовал за ударом; сначала должно было избрать 24 избирателя, которые и должны были выбрать 50 членов секретной комиссии: все 24 человека были выбраны из Гилленборговой партии, французского духа, большая часть между ними - ребяташки никуда негодные, по отзыву Бестужева. Французский посол, видя явное торжество своей партии, снял маску и начал прямо действовать против министерства. Но свергнуть министерство было трудно потому, что его поддерживал король; чтоб заставить короля покинуть министерство, начали страшать его опасностью, которой подвергается его любовница: начали кричать, что она мешается в дела, раздаёт должности, а отец ее, сенатор граф Таубе, за то деньги получает. Бестужев вместе с английским министром Финчем хлопотали об удержании короля при министерстве; королевские конфиденты обнадеживали их, что король не отступит от министерства, если только оно будет стоять твердо, т. е. если все члены его будут согласны между собою.

Объявлены были имена членов секретной комиссии: из 50 человек только пять или шесть были для Бестужева неподозрительны, остальные все - Гилленборговой партии, большая часть из них - люди молодые, много глупых и ни к чему не годных, по отзыву Бестужева, так что благоразумные люди и противной министерству партии с графом Тессином во главе были недовольны такими выборами. "Поддай, всевышний, - писал Бестужев, - добрых известий из армии вашего величества, чего наши друзья здесь от сердца желают: тогда все дела здесь иначе пойдут; сохрани, боже, от дурных известий, тогда крику и шуму здесь довольно будет. Между молодым шляхетством и офицерством охота к войне еще продолжается". Горн просил Бестужева недели две или три с ним не видаться, пока страсти успокоятся. Французский посол, получа от своего двора 50000 ефимков, поддерживал ими свою партию, но очень скрытно. Цель французского двора, по письмам Бестужева, состояла в том, чтоб привести в доброе согласие Швецию с Даниею, устроить тройной союз и держать обе скандинавские державы в своем распоряжении. "Я не слышу, - доносил Бестужев, - чтоб французский посол побуждал здешний народ к войне против России, да и не для чего ему этого делать, потому что у здешнего офицерства и без того довольно охоты и склонности к войне. Так как в дворянской палате большая часть офицеров находится, то большинство этой палаты нам противно; в духовном чине большинство на нашей стороне; относительно гражданского чина я не имею полной

уверенности, хотя и сделан подкуп, но и с противной стороны действуют также деньги; крестьянский чин держится короля и министров, как меня обнадеживали мои друзья".

30 июня Бестужев доносил, что в секретной комиссии решено было отправить осенью обещанный туркам за долг Карла XII корабль и 10000 мушкетов, остальные же 20000 мушкетов послать в будущем году. Так как упомянутые выше предложения наступательного союза заключались в письмах визиря и Бонневалея, то решено было, чтоб визирю отвечал сам король, а Бонневалею - граф Бонди. "Не известно, - писал Бестужев, - какою дорогою поедет курьер с этими депешами. Я уведомился, что майор Синклер, который в прошлом году был шпионом во Львове и теперь сидит в секретной комиссии, сам предложил, чтоб его опять туда послать для наблюдения, что будет происходить в армии вашего величества. Слышу, что он и отправился очень тайно, и, может быть, с ним пошлются дубликаты тех депеш, которые он может отдать туркам в Хотине, сам будет держаться около тех мест и шпионить, а поляков возбуждать против короля их и России, как он в прошлом году делал. Будучи великим злодеем и поносителем всей российской нации, он действует здесь против короля и министерства. Мое мнение, чтоб его "анлевировать", а потом пустить слух, что на него напали гайдамаки или кто-нибудь другой. Я обнадежен, что такой поступок с Синклером будет приятен королю и министерству".

Курьер отправился в Константинополь через Марсель, повез письма к визирю и Бонневалею, состоявшие в одних комплиментах, но в инструкции шведским агентам при Порте было сказано, чтоб они не королевским именем, а сами собою внушали туркам не спешить миром с Россией и выспрашивали бы, чем Порты вознаградит Швецию, если она объявит войну России. Дубликаты этих депеш должен был везти Синклер. Бестужев повторял в своем донесении: "Весьма потребно сего бездельного человека стеречь и его анлевировать яко шпиона, о чем мне от знатнейших персон под рукою дано знать, и я весьма обнадежен, что королю и министерству оное весьма приятно будет". В следующем донесении, повторяя то же о Синклере, Бестужев прибавил: "Я обнадежен, что взыскивать не станут".

В августе король тяжело занемог; противная партия стала пользоваться этим для своих целей; тогда другая партия убедила короля, чтоб он на время своей болезни поручил правление королеве; это сильно не понравилось противной партии, ибо известно было, что королева будет поддерживать министерство, только с большею твердостью и постоянством, чем муж ее. Бестужев писал, что дела поправляются, жар к войне потухает; что касается поведения французского посла, то он отговаривал от войны, представляя, что теперь не время, но когда Бестужев заговаривал с ним о сохранении настоящего шведского министерства, то он от таких разговоров уклонялся; так же поступал и кардинал Флери в разговорах с цесарским министром при французском дворе. В октябре С. - Северин предложил шведскому правительству субсидии на три года, по 300000

ефимков на год, с тем только, чтоб Швеция обязалась на десять лет не вступать ни с какою державою ни в какие обязательства без сообщения и согласия Франции, которая взаимно обязывается тем же. Предложение, разумеется, было принято. Английский министр Финч сильно встревожился и говорил Бестужеву, чтоб тот постарался отклонить французские предложения, на что будто бы, по письмам Рондо из Петербурга, он получил 50000 ефимков. Бестужев отвечал, что денег не прислано, но если б они и были присланы, то теперь уже поздно действовать, ибо французские предложения таковы, что ни один швед противиться им не будет и не посмеет; от принятия французских субсидий могли бы удержать одни английские. Друзья Англии сильно сердились и прямо говорили Финчу, что Англия друзей своих покинула: если б она не поскупилась и предложила субсидии в удобное время, то, конечно, ее субсидии были бы приняты, и Швеция осталась бы в английских руках. Но французская партия была также недовольна Франциею: она надеялась, что в предложении субсидий будут такие пункты, которые бы содействовали низвержению министерства и замыслам партии против России. В декабре Бестужев снова известил о Синклере: шведские агенты в Константинополе дали знать, что надеются вскоре прислать в Швецию с депешами Синклера, о котором в Стокгольме все думали, что пропал, изрублен или повешен, как шпион. Секретная комиссия чрезвычайно обрадовалась, что Синклер жив. По этому случаю Бестужев писал: "Надобно чаять, что он поедет через Польшу, и весьма кажется потребно этого шпиона анлевировать. Я обнадежен, что здесь не будет сказано об этом ни слова, ибо никто не надеется, чтоб он так счастливо проехал; все думали, что он сюда назад не возвратится".

Сейм не кончился в 1738 году, перешел на следующий год вследствие того, что городское сословие соединилось с дворянством против духовенства и крестьян. Эта измена *биргеров*, на угощение и подарки которым было истрачено много русских денег, опечалила Бестужева, равно как и добровольный выход Горна из министерства. Несмотря на то, он обнадеживал свой двор, что опасности нет, что французский посол не интригует против России, жар к войне с нею у шведов потух и они обращают свое внимание на Германию, там ищут добычи по поводу столкновения Ганновера с Даниею, а главное, не делается никаких военных приготовлений. Но с февраля 1739 года Бестужев начал сообщать тревожные известия о поступках секретной комиссии: пять сенаторов были удалены из Сената за то, что поспешили заключить союзный договор с Россиею; сейм подтвердил решение секретной комиссии опять вследствие перевеса, который дали противной партии *биргеры*, присоединившись к дворянству. Говорили, что французская партия в одну ночь раздала биргерам с лишком 6000 ефимков. Бестужев писал: "Такой насильственный поступок французской партии около двухсот знатнейших фамилий так озлобил, что, пока живы, никогда этого не забудут и будут искать случая отомстить. Такая страшная вражда партий в здешней нации интересам вашего величества теперь и всегда может быть только полезна. Слышно,

что на этом сейме противная сторона истратила около 300000 ефимков, а министр английский Финч уверял меня, что больше. Голштинская партия, как слышу, немало усилилась, и голштинский министр недавно начал угощать у себя в доме офицеров гвардии и артиллерии, которые королю недоброжелательны".

Из Петербурга посланы были в Париж Кантемиру указы - настаивать, чтоб, во-первых, французский двор не помогал шведской негоциации при Порте; во-вторых, чтоб французские послы в Стокгольме и Константинополе действовали против этой негоциации королевскими декларациями и чтоб эти декларации были точны и решительны, а не в общих выражениях. Кантемир отвечал, что если не почитать Флери и Амелота совершенно бессовестными людьми, то нельзя сомневаться, что первое желание императрицы исполнено: так сильны обнадеживания, сделанные ими ему, Кантемиру, и цесарским министрам. Но к исполнению второго желания он не видит здесь никакой склонности: французские министры уклоняются от этого исполнения на том основании, что могут сделаться подозрительны Порте, потеряют чрез это ее доверенность и лишат себя возможности продолжать медиацию; Турция, говорили они, так мало заботится о народном праве, что посадит Вильнева в тюрьму, как скоро увидит, что французское правительство сопротивляется союзу Швеции с нею. По мнению Остермана, Кантемир должен был объявить французскому министерству, что если французская деликатность относительно Порты еще может иметь какое-нибудь основание, то относительно Швеции невозможно понять, каким образом такая деликатность может считаться нужною для французских интересов. Одно объяснение могло бы быть - если б Франция подлинно желала продолжения войны между Россиею и Турциею, чего предполагать нельзя. Какой вред мог бы произойти, если б Франция прямо объявила в Швеции, что замыслы относительно сближения с Портою 1) несостоятельны, 2) для самой Швеции опасны, 3) французским интересам противно все то, что теперь или на будущее время может подать повод к новым беспокойствам на севере, следовательно, 4) Франция не может допустить исполнения шведских замыслов и считает их противными последней конвенции своей с Швециею. Французским интересам несколько не может повредить, если Франция и Порте прямо объявит, что война России с Швециею французским интересам противна, а Порте никогда от нее никакой пользы не будет и что Франция должна это объявить как верный друг Порты и посредница в мирных переговорах. Но Кантемир давал знать, что кардинал нимало не склонен явно сопротивляться союзу между Швециею и Портою, желая сохранить свой кредит у обоих этих дворов, хотя и нет основания подозревать, что он станет содействовать переговорам об этом союзе, ибо он так его, Кантемира, и цесарских министров в этом обнадеживает, что надобно быть ему совершенно бессовестным, если эти обнадеживания неискренни. Флери говорил Кантемиру, что он всегда почитал С. - Северина честным и искусным в своем деле человеком, потому крепко надеется, что он точно исполнил королевские указы относительно сношений Швеции с Портою и

не преминул бы донести, если бы на шведском сейме усматривались какие военные замыслы или намерения вступить в союз с Портою, но, напротив того, С. - Северин подтверждает, что такого намерения принято не было и никаких военных приготовлений не видит. "Для прекращения такого кардинальского поступка, - писал Кантемир, - один бы способ был доказать ему теми доводами, которые я в своих руках имею, что ваше императорское величество основательно уведомлены о всех шведских происхождениях, но то самое насильнейше вашими указами мне запрещено, и, может быть, открывая то, что он прикрыть намерен, могло бы его раздражать, хотя, впрочем, и понудило бы к лучшему чистосердечию". В последующих депешах Кантемир писал: "Меры, принятые относительно шведских дел, не соответствуют обещаниям кардинала: доношения С. - Северина старательно утаиваются; происками французского двора доброжелательные к России шведские сенаторы лишаются своих мест; все это не показывает большого доброжелательства со стороны французской; с нашей стороны нужно думать о мерах предосторожности, тем более что отправление французской эскадры в Балтийское море вовсе неблагоприятно".

Когда Кантемир указал Амелоту на эту неблагоприятность, тот отвечал: "Удивляюсь, что французский король не может отправить четыре корабля, не подав всему свету на себя подозрения; может ли такое малое число кораблей иметь военное намерение? А что эскадра не будет увеличена, в этом я вас удостоверяю; единственная цель ее отправления - объехать неизвестные берега Балтийского моря для их узнавания и обучения морских служителей, и как скоро это будет исполнено, то эскадра возвратится назад, потому ни Швеция, ни Порта никакой надежды на нее иметь не могут. Она могла бы подать повод к подозрению в том случае, если б в Швеции делались военные приготовления, но известно, что ничего нет, и потому надобно презирать всеми неосновательными рассуждениями насчет отправления этой эскадры, которыми наполняются газеты". Сам кардинал уверял, что при первом слухе о шведских вооружениях С. - Северину отправлено приказание изъяснить шведским министрам, как дерзок был бы их поступок и как мало помощи должны они ожидать от Франции. После, в конце июня, когда нельзя было уже отрицать военных приготовлений Швеции, Флери уверял Кантемира, что эти небольшие приготовления делаются только потому, что подобные же сделаны в России, что в Финляндию переведены два или три полка для облегчения других провинций по просьбе их жителей, что кораблей в Швеции никаких не вооружается. Из Петербурга внушали Кантемиру: "Понеже время все показать имеет, того ради лучше больше в сих делах на тамошнее министерство не налегать, и ежели бы паче чаяния еще вновь что у вас открылось, о чем бы с тамошним министерством себя открывать потребно было, то стараться, сколько возможно, сие учинить чрез цесарских министров".

В половине апреля "беспокойный и опасный" сейм кончился. Граф Гилленбург назначен был президентом канцелярии вместо Горна, и Бестужев начал доносить о военных приготовлениях в Швеции. "Не худо, - писал Бестужев, - гарнизон в Выборге прибавить, войско между Петербургом и Выборгом умножить, флот держать в осторожности, чтоб какой-нибудь сюрприз над ним не учинили, но, соблюдая осторожность, не подавать отнюдь никакой причины шведам к озлоблению, ибо я наверное знаю, что при самом окончании сейма в секретной комиссии были такие разговоры, чтоб Россию раздражить и заставить ее начать войну; тогда шведы объявят, что принимаются за оружие для собственной защиты, и король датский по обязательствам оборонительного союза должен будет помогать Швеции, а не России. Подобные разговоры и в других домах производились и теперь продолжаются. Король недавно велел мне сказать чрез своего кассельского министра барона Ассбургга, чтоб я не беспокоился, все по-старому будет, но король в Сенате мало силы имеет, новые сенаторы почти во всем ему противятся; огромное большинство членов на стороне Франции, и до будущего сейма кардинал Флери будет распорядиться Сенатом и министерством". Относительно могущей произойти войны Бестужев доносил: "Финляндский корпус так далеко в земле расставлен, что и в два месяца собраться не может; сверх того, все жители финляндские вообще шведским правительством очень недовольны. Некоторые финляндские шляхтичи, бывшие здесь на сейме, обнадеживали меня, что если шведы начнут войну, то финляндцы разорять себя не допустят, и если императрица выдаст милостивый манифест с обнадеживанием сохранения их прав и привилегий, то они охотно поддадутся России, и никто из домов своих не выйдет. И Сами шведы такое же мнение имеют о финляндских жителях". Потом Бестужев начал успокаивать свой двор, что вооружения шведские, по всем вероятностям, направляются против Пруссии, а не против России, ибо эти приготовления слишком незначительны для войны с такою сильною империею; во всяком случае шведы не начнут войны с Россиею ранее зимы, когда реки и болота замерзнут.

6 июля Бестужев донес: пришло известие, что Синклер убит русскими по сю сторону Бреславля, между местечками Нейштадтом и Грюнбергом. Шведские министры тотчас запретили курьеру, привезшему эту новость, распространять ее. Гилленбург говорил, что лучше, если бы это дело было сделано тайно, будто разбойниками убит, а не так явно и неосмотрительно. Мы видели, как Бестужев побуждал свое правительство к тому, чтоб *анлевировать* Синклера. Вследствие этого между двумя императорскими дворами было условлено схватить его, если он объявится в цесарских или польских областях. Миних дал инструкцию драгунскому поручику Левицкому настичь Синклера и постараться его убить или утопить, отобравши письма. Миних дал инструкцию еще двоим офицерам - капитану Кутлеру и поручику Веселовскому - перенять молодого Рагоци и молодого Орлика, ехавших из Франции в Турцию, а также Синклера, если случайно с ним встретятся. Кутлер и Левицкий проведали о Синклере,

взяли в Варшаве паспорт от цесарского резидента Киннера и "исполнили свою комиссию". Бумаги Синклера были переданы убийцами Кейзерлингу, который находился тогда в Дрездене при короле Августе. Когда слух об убийстве Синклера разнесся по Стокгольму, 5 июля один приятель дал знать Бестужеву, чтоб был осторожен, ибо поступок с Синклером произвел в городе страшное озлобление, вследствие чего Бестужев сжег секретнейшие реляции и счета по подкупам, а остальные бумаги отдал на сохранение голландскому посланнику. Гвардейские офицеры толковали, что если правда, что Синклер убит русскими, то надобно поступить точно так же и с Бестужевым; правительство тайно приказало городским властям смотреть, чтоб русскому посланнику и его слугам не было нанесено никакого оскорбления. По бумагам, присланным из Петербурга, Бестужев подал шведскому правительству декларацию, что русское правительство не принимало никакого участия в убийстве Синклера. Гилленборг сказал Бестужеву, что они верят безучастию русского правительства в этом деле, но он, Гилленборг, имеет подозрение на графа Миниха, который, по своей горячности быть может, дал указ привезти Синклера живого или мертвого. Несмотря на приказы по армии, чтоб не толковали о Синклере, ожесточение не ослабевало и распространялось даже по провинциям; офицеры приходили к Гилленборгу и требовали войны с Россиею, представляя, что теперь самый удобный случай начать ее, а когда турецкая война кончится, то Россия сама нападет на Швецию. Гилленборг отвечал, что надобно подождать, что сделается с Минихом, и тогда принять свои меры. Бестужев писал, что в случае неудачи Миниха никто не удержит шведов от объявления войны России. Несмотря на заявление Гилленборга, что более двух полков не будет отправлено в Финляндию, в августе месяце в чрезвычайном собрании Сената было решено отправить в Финляндию еще шесть тысяч пехоты; против этого решения с королем было только четыре сенатора. Но старые приятели дали знать Бестужеву, чтоб он не беспокоился, что все это делается по предписанию секретной комиссии - раздражать Россию, чтоб она начала войну, ибо Швеции начать наступательную войну нельзя без сейма. В Стокгольме не было других разговоров, как только о войне с Россиею, а между тем приятели сообщали Бестужеву, что они не дремлют, меры свои принимают; они имеют из всех провинций верное известие, что весь духовный и крестьянский чин, также большая часть городского, кроме жителей приморских городов, сильно склонны к покою и о войне слышать не хотят, и из дворянства богатые и рассудительные люди также не расположены к войне. Горн советовал, чтоб Россия привела себя в готовность к сильной обороне и спокойно смотрела на все шведские глупости, не подавая никакого случая к озлоблению; отправляемый в Финляндию корпус, не имея чем там содержаться, растает сам собою, за что Гилленборг с товарищами заплатят своими головами. Эмиссар Бестужева, возвратившийся из Карлскроны, объявил, что сам видел, как в гавани этого города вооружаются 22 линейных корабля; по провинциям почти все офицерство склонно к войне, но крестьянство и духовенство ее не желают; офицеры по провинциям сильно возбуждают

народ против России, выставляя особенно убийство Синклера. В сентябре, в одно воскресенье, во время службы в русской церкви священник и все присутствовавшие были заперты толпою молодых людей, так что по окончании службы надобно было ломать изнутри двери, чтоб выйти; правительство поставило караул при церкви. Бестужеву подкинута было письмо с угрозою, что с ним поступлено будет, как с Синклером. Известие о Ставучанской победе и взятии Хотина сильно обрадовало Бестужева, но радость была очень непродолжительна: пришло известие о заключении Австриею отдельного мира с турками. "Мне непристойно об этом чрезвычайном деле рассуждать, - писал Бестужев, - только весь свет не может довольно такому нечаянному и чудному поступку надивиться: я же об нем с таким великим соболезнованием и неизреченною печалию уведомился, что чуть паралич меня не ударил. Здесь эта новость произвела такую радость в правительствующей партии, что сказать нельзя". В начале октября опять печаль Бестужева сменилась радостью: пришло известие о заключении мира между Россиею и Турциею. "Я теперь, - писал Бестужев, - не только наружно, но и внутренне стал спокоен, ничего более с здешней стороны не опасаясь, чрезвычайного сейма не будет, и все по-прежнему останется". Члены правительствующей партии начали толковать, что Франция их провела; они были уверены, что Франция никогда не допустит Порту до мира с Россиею, а если бы и допустила, то с одним условием - чтоб Швеция была включена в мирный договор и получила от России некоторую часть завоеванных Петром Великим провинций; на таком основании был составлен план в бывшей секретной комиссии.

14 октября 1739 года Кантемир доносил, что в передней у Амелота имел долгий разговор с С. - Северином, приехавшим из Швеции: посланник высказал такое мнение о шведских делах, что министерство шведское, чувствуя свою слабость, нималой склонности к начатию войны не имеет и что все нынешние движения суть следствия народной горячности, которая принуждает министерство к поступку, противному его желанию, поэтому все представления его, С. - Северина, при шведском дворе для отвращения войны не принесут большой пользы, если народ, который резонов не слушает, упрямо войны желать будет. На полях этого донесения Остерман по своему обыкновению написал ответ: "Натурально само собою следует, что если Швеция войну начнет. то это сделается или с согласия, или без согласия Франции. Первое может случиться только в явную противность столь многим торжественным обнадеживаниям; во втором случае само собою разумеется, что Франция Швеции помогать не должна и без нарушения своих торжественных обнадеживаний помогать не может, ибо такое вспоможение было бы явным согласием. Но дела в Швеции не на таком основании находятся, как С. - Северин рассуждает: старое министерство ниспровергнуто, и новое поставлено там исключительно французскими стараниями; для этого подкуплены и употреблены молодые офицеры, которые по убожеству, не имея чего терять, желают войны для своего прокормления, но этих офицеров нельзя принять за весь народ, который по большей части недоволен поступками нового министерства и

войны безрассудно не пожелает, особенно когда от Франции помощи не будет. Можно положить за верное, что шведы без согласия Франции войну не начнут и без французской помощи начать ее не в состоянии. С другой стороны, не видно, какой бы Франция могла иметь интерес помогать Швеции в войне с нами. Хотя б Франция подлинно желала для своих интересов и будущих видов привести Швецию в прежнюю силу, то надобно рассудить, что такое желание нелегко исполнить: имея свободные руки от турок, мы можем все свои силы обратить против шведов, и Франции скоро наскучит посылать такую убыточную помощь в такие отдаленные места, умалчивая, что в таком случае мы с другими союзниками укрепиться можем. Но хотя все вышеписанные рассуждения и основательны, однако надобно всегда быть осторожными и хотя до времени от новых домогательств в этом деле удержаться пристойно, однако не мешает на тамошние поступки недреманным оком всегда смотреть". От 24 января 1740 года Кантемир прислал любопытное донесение о разговоре своем с кардиналом: утверждая, что Порта непременно ратификует мирный трактат и, следовательно, Швеция ничего не успеет в своих домогательствах, Флери вдруг прибавил: "Правду сказать, по Ништадтскому миру бедные шведы потеряли все лучшие свои области, которые желали бы себе возвратить, и если б можно было им что-нибудь возвратить из этих областей, то они бы успокоились". Кантемир отвечал, что императрица имеет неоспоримое право на завоеванные у Швеции провинции по торжественным договорам, после которых между Россией и Швецией заключен был союз и три года тому назад возобновлен с уплатою со стороны России немалой денежной суммы. "Я знаю, - сказал кардинал, - что Россия имеет неоспоримое право на эти провинции" - и тем покончил разговор. "Всепогоднейше прошу, - писал по этому случаю Кантемир, - чтоб так с здешней, как с шведской, стороны содержать себя в предосторожности, понеже, как я уже часто доносил, переменчивый нрав кардинальский не позволяет на его обнадеживания совсем полагаться". Это донесение произвело в Петербурге чрезвычайно сильное впечатление. В июле Кантемир писал: "Ваше величество легко судить изволит, что от здешнего двора никакой пользы себе ожидать не может: если в некоторых случаях и являются склонны к интересам вашим, то для того только, чтоб удержать вас от вступления с другими державами в какие-нибудь обязательства, здешним видам противные; когда же опасность таких обязательств минется, то и ласкательство прекратится. С глаз своих здесь не спускают, что во всей Европе только одна ваша сила здешнюю в равновесии держать может и что ваше величество в теснейшем союзе с цесарем находится, отчего на вас смотрят как на главнейшее препятствие к совершенному унижению австрийского дома, что всегда было главною целию здешнего двора. Из этого легко заключить, что когда случай представится для уменьшения вашей неприятной силы, то или под рукою, или явно, смотря по обстоятельствам времени, его не пропустят"

Между тем в конце 1739 года в шведском Сенате рассуждали о необходимости созвать чрезвычайный сейм вследствие изменившихся

обстоятельств, но большинство голосов вместе с королем решило, что сейм не нужен. Ожесточение противной партии высказывалось мелкими средствами: бросали камни на крышу русской церкви, два больших камня брошены были ночью в окно к самому Бестужеву. 1740 год Бестужев начал донесением, что в Стокгольме начинают наконец верить миру между Россией и Портою, но за то правительствующая партия делает другие внушения для удержания в народе склонности к войне с Россией, а именно: будто Россия от турецкой войны в такую великую слабость пришла, что ни людей, ни денег нет, к тому же в народе великое неудовольствие, открыт страшный заговор, более 80 человек из знатнейших фамилий казнено и в ссылку сослано, списки этих людей читались в Стокгольме по кофейным и винным погребам; внушали, что как скоро Швеция нападет на Россию, то в России сейчас же вспыхнет возмущение. Сенатор Спар, будучи у тестя своего графа Гилленборга, рассуждая о настоящих делах, сказал: "Le vin est tire, il faut le boire" (вино откупорено, надо его выпить). "Надлежит с нашей стороны, - писал Бестужев, - во всякой осторожности и исправности быть, ибо эта правительствующая партия, видя, как далеко забрела, может для своего спасения решиться на отчаянные средства в надежде: авось либо удастся!" Наконец в марте месяце, когда Бестужев в торжественной аудиенции объявил королю о заключении мира с Портою, всякое сомнение на этот счет исчезло, и Бестужев писал: "Совершение мира с Портою желаемое действие здесь учинило, так что не только в людях, склонных к войне и нападению на Россию, горячность утихла, но и в народе утихать начинает. По рассуждению всех здесь разумных людей, после заключения мира с Портою нет более опасности, чтоб шведы напали на Россию, и если военные приготовления здесь продолжаются, то единственно для собственной защиты, ибо новое министерство подало причину к справедливому гневу вашего величества; чем более будет у нас делаться военных приготовлений, тем более здешнее министерство и вся противная партия будут приближаться к своему падению". Горн прислал к Бестужеву доверенного человека сказать, что министерство и вся его партия в крайнем беспокойстве и затруднении и хотя пред людьми бодрятся и внушают народу, что Россия, истощенная турецкою войною, не в состоянии скоро напасть на Швецию, однако сами убеждены в противном; чтоб Бестужев не обращал никакого внимания на военные приготовления Швеции, ибо дела находятся в таком дурном положении, что Швеция не только напасть и защищать себя не может; половина французских субсидий уже издержана, сделаны долги, а другую половину субсидий государственные чины велели беречь на самую крайнюю нужду; будущю осенью сейм будет необходим по расстроенному состоянию дел, и заранее надобно стараться о получении большинства; для этого нужны деньги, чтоб разослать эмиссаров по сеймикам для выбора в депутаты хороших людей. В конце апреля Бестужев лично виделся с Горном и говорил ему, чтоб они русскими военными приготовлениями нимало не тревожились, ибо императрица, несмотря на враждебность нынешнего министерства,

пребывает в прежних доброжелательных чувствах, но чтоб они пользовались этим и внушали в народ, в какую крайнюю опасность нынешнее министерство привело Швецию без всякой причины и пользы. Горн отвечал, что такие внушения в Стокгольме и провинциях уже делаются, но прежде всего нужны деньги для получения большинства при выборе сеймового маршала и членов секретной комиссии; из России должны быть присланы немедленно 10000 червонных, а если прежде сейма не получится большинство, то во время сейма деньги напрасно будут истрачены. "Если б мы, - говорил Горн, - на прошлом сейме заранее взяли свои меры и столько на наше справедливое дело не надеялись, то никогда до такой крайности не дошли бы". На это донесение из Петербурга отвечали, что деньги уже переведены и доброе действие от них ожидается. Денег нельзя было жалеть, потому что Швеция успела заключить оборонительный союз с Турциею. Бестужев уведомлял, что противная партия ищет всякими способами помириться с отставленными сенаторами, особенно с графами Бонде и Белке, обещая на первом сейме восстановить их в сенаторском достоинстве, но те не показывали охоты к примирению, и Бестужев писал: "Никак не надобно допускать до этого примирения; русский интерес требует, чтоб между ними была всегдашняя вражда. Запрещение вывоза из Лифляндии и Эстляндии хлеба произвело здесь желаемое действие: здешние купцы и жители сильно встревожены и озабочены, а после это будет им еще чувствительнее, потому что во всем государстве большая скудость в хлебе, магазинов нет, и если нынешний год будет неурожай, как видится по погоде, то государство постигнет крайнее бедствие".

Чтобы предотвратить шведскую войну, нужно было прежде всего действовать деньгами перед сеймом и во время сейма. Большие деньги надобились и в Польше, где русский посланник Кейзерлинг хлопотал о примирении партий и о составлении из влиятельных людей прежних партий без различия одной большой русской партии, которая бы обеспечивала спокойствие России со стороны Польши. Основу русской партии в конце 1734 года составляли Понятовский и Чарторыйские. В январе 1735 года Кейзерлинг писал: "Так как люди по зависти к счастью Понятовского, с досадою смотревшие и на дом Чарторыйских, до сих пор стараются при дворе, и не без успеха, отнять у них королевское доверие, то я принужден был самым сильным образом представлять при дворе, что так нельзя достигнуть примирения, ибо известно, что Понятовский и Чарторыйские - добрые и достойные люди, которые своим кредитом и народною любовью могут много способствовать успокоению государства. По этому моему представлению и совету король обнадеживал своею милостию графа Понятовского, который чрез мое посредство недавно помирился с князем Вишневецким; король велел выдать Понятовскому 3000 червонных, которые тот должен употребить по своему усмотрению в видах умирения партий". Считали необходимым как можно скорее склонить пленного примаса на сторону короля Августа, и Понятовский предложил подкупить 300 червонных любимца примасова - иезуита.

Король, несмотря на представление Кейзерлинга, уже начал раздавать чины; Кейзерлинг вторично представил ему, что эта преждевременная раздача может иметь дурные последствия: надобно непременно оставить в запасе приманку, которою должны быть привлечены вельможи противной партии, ибо если все чины сейчас же розданы будут доброжелательным, то вельможи противной партии не увидят для себя никакой выгоды признать королем Августа и будут продолжать питаться пустою надеждою, что получат желаемое, поддерживая Станислава. Кроме того, для привлечения народа на сторону Августа важно было, чтоб русские войска делали различие между друзьями и врагами, и Кейзерлинг, получив жалобы, что этого различия не делается, писал к генералам, чтоб, согласно намерениям императрицы, берегли жителей, признающих королем Августа, ибо в противном случае никто не склонится на его сторону, не видя от того себе выгоды. Но сильные препятствия своим стараниям встречал Кейзерлинг между поляками, находившимися на стороне Августа. "Нельзя понять, - писал он, - как мало обращают внимания на средства, которыми можно достигнуть общего умирения: всякий имеет в виду только собственный интерес, и полезнейшие советы на некоторое время отлагаются или вовсе не приводятся в исполнение. Я при разных случаях вельможам давал знать, что ваше величество армию свою с тою целью в польские границы ввести повелели, чтоб вольность и спокойствие республики прямым и основательным образом охранить, а не для подкрепления частной ненависти, зависти и вражды фамилий".

Самым могущественным средством для успокоения Польши были деньги, и король Август обратился за ними к той же державе, которая своим войском возвела его на престол польский: Россия дала ему займы 100000 червонных. Деньги нужны были, тем более что 200000 талеров, отправленных из Саксонии в Варшаву, были захвачены люблинским воеводою Тарло, который разбил и взял в плен саксонского генерала Биркгольца. Понятовский, который до сих пор неудачно хлопотал о привлечении Тарло на сторону Августа, снова послал к нему с представлениями, что напрасно надеется он на французскую помощь и в этой надежде разоряет отечество. Кейзерлинг поручил посланнику уверить Тарло, что он в случае признания короля Августа может надеяться на покровительство и милость императрицы; Кейзерлингу хотелось присоединением Тарло и Ожаровского увеличить русскую партию, образовавшуюся из князя Любомирского и Чарторыйского, Понятовского и Залуского, епископа плоцкого, потому что Кейзерлинг не доверял коронному гетману Потоцкому, врагу Тарло.

Русские войска исправили дело, испорченное саксонскими: генерал Леси нанес Тарло сильное поражение. В мае Кейзерлинг доносил, что большая часть вельмож больше хлопочет о частных интересах, чем об умирении отечества. Пленный примас Федор Потоцкий все еще не признавал Августа королем, и сильная партия поддерживала его в Варшаве: она требовала, чтоб он на свободе мог договариваться с королем. Канцлер, епископ

краковский, Липский, гетман Потоцкий, князь Вишневецкий и коронный маршал Мнишек неумолимо старались дать дому Потоцких первенствующее значение в республике, и так как для приобретения популярности между шляхтою было одно средство - захватить в свои руки верховный суд и раздачу чинов, то краковский епископ, как канцлер, домогался, чтоб чины раздавались чрез него, по его рекомендации. Кейзерлинг представлял саксонским министрам весь вред, какой может произойти от этого, и настаивал на своем прежнем требовании, чтоб раздача чинов была отложена до умирительного сейма (pacificationis); настаивал также, чтоб король сам роздал чины, ибо таким образом получившие чины будут обязаны одному королю, а не кому-нибудь другому; требовал, чтоб войсковые начальники были независимы от гетманов. Но Кейзерлинг продолжал жаловаться своему двору, что, несмотря на все его представления, прежде умирительного сейма чины уже раздаются сторонникам канцлера, Вишневецких и Потоцких. Чтоб положить этому конец, Кейзерлинг объявил вторично самому королю, что ни его величество, ни союзные дворы не могут надеяться на постоянное и твердое спокойствие, когда вся сила и власть будут в руках только одной партии, и именно той партии, которая подала первый повод к происшедшей смуте, что необходимо уравнивать силу фамилий. Поступки двора привели Кейзерлинга к тому убеждению, что король хочет создать свою собственную партию из опасения, что русские приверженцы, увеличившись в числе, будут владеть и двором, и республикою. Так как коронный гетман Потоцкий (воевода киевский) не был приверженцем России, то Кейзерлинг считал необходимым, чтоб гетманство неполное дано было кому-нибудь не из партии Потоцких, и взял с тайного кабинетного министра фон Брюля обещание, что неполное гетманство не будет никому дано без согласия императрицы.

Кейзерлинг настаивал на созвании умирительного сейма; противная партия возражала, что будет несогласно с польским уставом о вольности, если умирительный сейм будет держан в то время, когда чужие войска находятся в государстве. Кейзерлинг замечал на это, что и прежде бывали случаи, когда сеймы отправлялись в присутствии чужестранного войска, и это присутствие служило к поддержанию польской свободы, а не к уничтожению ее, как, например, присутствие русских войск во время сейма 1717 года, и если все, что происходит в присутствии иностранных войск, незаконно, то незаконны будут избрание и коронование нынешнего короля. В июне Кейзерлинг согласился, чтоб 19000 русского войска были выведены за польские границы, но оставались вблизи их, чтоб в Польше число русских войск вместе с саксонскими простиралось до 50000. Между тем пленный примас в письме своем дал Августу титул королевский, за что, несмотря на возражения Кейзерлинга, король позволил перевести его из Торна в Лович и дал ему свободу. В июле примас приехал в Варшаву и представился королю, которому говорил такую речь на польском языке: "Божие провидение никогда не обнаруживалось столь осязательным образом, как в возвышении вашего величества на польский престол и в

утверждении на нем. Я признаю ваше величество законным королем польским, и хотя являюсь с этим признанием между последними, однако мое признание так же полно и истинно, как и признание тех, которые с ним явились первые. При этом прошу королевской милости притесненным и истощенным обывателям королевства, и если настоящие обстоятельства не допускают вывести всех войск из государства, то чтоб по крайней мере была выведена часть их". Король, которому епископ краковский перевел речь примаса, отвечал на французском языке уверениями в своей неизменной милости и расположении. Но примас знал, что одних королевских милостей и расположения мало, и потому написал письмо русской императрице: с глубокою *адорациею* и надлежащим унижением Федор Потоцкий благодарил за милосердие, оказанное хворому и несчастному старику, который остаток жизни своей употребит на молитвы о многолетнем и благополучном государствовании императрицы и будет во всем послушен ее велениям. Кейзерлинг писал, что будет стараться удерживать примаса в таких "добрых сентиментах", но для этого нужен был скорый ответ императрицы Потоцкому с обнадеживаниями в милостях и щедротах, которыми он прежде пользовался; Кейзерлинг советовал прислать примасу бриллиантовый крест. И канцлер Липский, епископ краковский, обратился к Кейзерлингу с просьбою об исходатайствовании щедрот императрицы, ибо все его епископство так разорено, что нет никакой надежды два года получить какой-нибудь доход; епископ по секрету сообщил Кейзерлингу, что двор жалеет денег для подкупов на сеймиках и эта экономия может быть большим препятствием к благополучному исходу дела; наоборот, королевские министры уверяли посла, что двор употребляет для сеймиков невероятные суммы.

Кейзерлинг торопился пацификационным сеймом, но магнаты и министры объявили ему, что депутаты, которые съедутся на сейм, не позволят начать его и не приступят к выбору сеймового маршала до тех пор, пока с русской стороны не будет объявлено, что во все продолжение сейма не будет собираться контрибуция на содержание русских войск, как уже объявлено со стороны короля относительно войск саксонских. Кейзерлинг отвечал, что не знает, чем же войско будет содержаться во все это время; можно сделать одно: расписанные фельдмаршалом Минихом контрибуции убавить наполовину. Но поляки не согласились. К этой неожиданной неприятности присоединились еще столкновения русских интересов с королевскими. "Все те, которые вашего величества милостию и покровительством пользуются, имеют несчастье быть неугодными здешнему двору", - писал Кейзерлинг в октябре. Епископ плоцкий (Залуский), один из самых преданных России людей, сначала пред министром Сульковским (побочным братом короля) и потом пред королем заявил желание получить место канцлера, ибо краковский епископ по уставу не мог занимать этого места. Но граф Сульковский прямо сказал ему, для чего он прежде заявил о своем желании русской императрице и таким образом оказал плохое доверие своему королю; сам король хотя принял его милостиво, однако дал знать, для чего он не хотел положиться

на его милость и просил представительства в Петербурге. Земские послы съехались и действительно не выбирали маршала, настаивая на вывод войск или, еще более, на прекращение контрибуции. В ноябре Кейзерлинг известил, что сейм без плода рушился, чему столько же почти причин, сколько в Польше частных интересов; двор скупился, и министры оправдывали эту скупость тем, что сейм первый при новом короле, и так как республике самой он очень нужен, то не для чего депутатов приучать к деньгам, в противном случае на будущее время король будет принужден постоянно употреблять деньги, чтоб сейм состоялся. Кейзерлинг мог утешаться по крайней мере тем, что чины были розданы по его представлению, т. е. приверженцам России.

В январе 1736 года в Варшаву приехал молодой Огинский и привез обнадеживание, что как его отец, воевода витебский, так и другие литовские вельможи, находящиеся в Кенигсберге, желают приехать в Варшаву, если только будут иметь средства высвободиться из Кенигсберга, для чего прежде всего нужны деньги для уплаты долгов. Кейзерлинг склонил двор к тому, что он обещал выдать им чрез него, Кейзерлинга, 5000 червонных. Вслед за тем королевские министры дали знать Кейзерлингу, что королю приятно будет слышать, кому императрица желает доставить Курляндию по смерти герцога Фердинанда; король несколько не имеет намерения доставить это герцогство какому-нибудь саксонскому принцу: ему приятна будет та особа, которую изберет императрица, ибо король в этом деле желает поступать единственно по желанию ее величества. Кейзерлинг, донося об этом императрице, писал: "Чрезвычайно хорошо могло бы быть, если б я был уведомлен наперед и под рукою о высочайшем намерении относительно кандидата на курляндский престол. Я должен вывести из сомнения тех, которые опасаются, чтоб Курляндия не отошла к прусскому или какому-нибудь другому сильному немецкому принцу; из этого опасения проистекает требование, чтоб герцогом был избран непременно кто-нибудь из курляндцев по примеру первого герцога, Кетлера. Но обстоятельства тогдашнего времени были совершенно другие, чем теперь: тогда имения великого магистра ордена были свободны от долгов, а теперь герцогские имения обременены внешними и внутренними долгами, и двор ими содержаться не может, следовательно, будущий герцог курляндский должен быть богат, иметь свои собственные доходы, а такого между курляндцами найти нельзя". Между тем Кейзерлинг продолжал хлопотать о том, чтоб удовлетворить знатнейших станиславцев и тем притянуть их в русскую партию; так, он потребовал, чтоб воеводе люблинскому Тарло дали воеводство Сандомирское, а Люблинское воеводство - сыну его. Старый Тарло приехал в Варшаву и заявил пред Кейзерлингом желание загладить свое прежнее поведение покорностию воле императрицы. Кейзерлинг вместе с ним сочинил проект приступления поляков, находившихся в Кенигсберге с Станиславом, и король кроме 5000 червонных, выданных литовским вельможам, назначил еще 5000 для поляков, и эти деньги опять пошли чрез Кейзерлинга. С примасом

Потоцким продолжались у Кейзерлинга лады: старик открыл ему, что прусский резидент просил иметь в виду кандидатом на курляндский престол второго принца прусского, но что как республика, так и он, примас, никогда на это не позволят; что дело всего лучше сделается таким образом, если король и республика предложат троих кандидатов из природных курляндцев, а курляндские чины выберут одного из них. Кейзерлинг отвечал, что императрица не намерена навязывать никакого кандидата и желает только одного, чтоб Курляндия сохранила прежнюю правительственную форму и право избрать себе герцога.

Станислав Лещинский наконец отправился из Кенигсберга; бывшие при нем поляки возвратились в отечество, признав королем Августа. Кейзерлинг писал об них: "Эти поляки надеются единственно на милость вашего и. в-ства; я не перестаю их в том подкреплять и надеюсь, что они не только теперь, но и вперед могут быть с пользою употреблены для интересов вашего величества. Стражник литовский Поцей от великодушия вашего величества желает получить 3000 червонных для уплаты сделанных в Кенигсберге долгов. Он пользуется доверием и любовью литовского шляхетства и почти единственный человек, который может держать равновесие с радзивилловским домом. Так как он теперь поехал на сеймики, то я ему дал 400 червонных и назначенным от него людям - 250. Описать нельзя, как велико число тех поляков, которые просят милости вашего величества; обо всех нельзя ваше величество утруждать, я осмеливаюсь писать только о тех, которые с большею пользою могут быть употреблены". Благодаря этим влиятельным полякам на сейме 1736 года дело кончилось по желанию русского правительства: постановлено удержать в Курляндии прежнюю правительственную форму и дать королю право назначить нового герцога; это решение состоялось, несмотря на сильное сопротивление духовенства, которое грозило отлучением тем депутатам, которые бы решились говорить о курляндских делах. Кейзерлинг подкупил одного посла, который решился начать говорить о Курляндии и был поддержан преданными России людьми, так что 114 голосов оказалось в пользу и только шесть - против самостоятельности Курляндии; самую деятельную помощь Кейзерлингу оказали новый канцлер коронный Залуский, князья Чарторыйские, каштелян Черский и особенно возвратившийся недавно из Франции Ожаровский, бывший прежде, как мы видели, ревностным приверженцем Лещинского. Когда дело перешло из Посольской избы в Сенат, то здесь духовенство, и особенно епископ Куявский, "двигали небо и землю" для уничтожения решения Посольской избы; епископ Куявский объявил Кейзерлингу, что сам разорвет сейм, если он, посол, не перестанет проводить курляндское дело. Тогда Кейзерлинг по настоянию короля объявил, что в России будет дозволено свободное отправление католического богослужения и в Курляндии будет позволено произвести суд относительно отнятых у католиков двух церквей. Король спросил у духовенства, хочет ли оно упустить из рук такие выгоды и вместе потерять Курляндию? После этого вопроса духовенство перестало сопротивляться. "Теперь надобно, - писал

Кейзерлинг, - чтоб ваше в-ство приняли решение насчет особы будущего герцога, ибо по смерти старого герцога усилия иностранных держав увеличатся и должно будет ожидать больших затруднений. Князь Вишневецкий и Радзивиллы, также примас по представлении ему определенной вашим в-ством пенсии и коронный великий маршал Мнишек показали верность и ревность свою в курляндском деле".

Курляндское дело было главным предметом забот Кейзерлинга. В 1737 году он поехал в Петербург за инструкциями и на возвратном пути в Риге узнал о смерти герцога Фердинанда. Он отправился немедленно в Митаву и оттуда в мае месяце писал императрице, что как можно скорее надобно произвести избрание нового герцога, что такого мнения и доброжелательные польские вельможи: только скорым избранием можно отнять время и случай у католического духовенства и чужих держав возбудить новые затруднения и произвести в здешней стране партии и беспорядок. Кейзерлинг относительно избрания устроил дела так, что по выезде из Митавы мог писать императрице: "Все здесь в такой желанной диспозиции находится, что я совершенно надежен, что никакие прусские деньги, как бы велики ни были, ни малейшего впечатления не произведут, ибо всякому здесь будущая безопасность уставов и вольностей своих приятна; притом же известно, как велика ненависть, которую республика питает к Пруссии". Кейзерлинг не допустил до оберратов курляндских письма к ним от старого искателя герцогства Морица саксонского, который напоминал оберратам о своем прежнем избрании. Мориц писал и к Кейзерлингу, предлагая приехать в Петербург, чтоб покончить там дела, и требуя от Кейзерлинга слова, что его в Петербурге не принудят ни к чему и позволят уехать, когда захочет; письмо осталось без ответа. Кейзерлинг из Митавы спешил в Дрезден, ко двору Августа III, чтоб там устроить вторую половину дела. Получивши известие, что в Митаве курляндские чины единодушно и добровольно избрали в герцоги российского императорского обер-камергера, имперского графа фон Бирона, Кейзерлинг немедленно объявил об этом королю, и тот отвечал, что ему особенно приятно избрание Бирона с исключением других кандидатов и таким образом исполнено желание республики, которая всегда требовала избрания природного курляндца. В Сенате русские приверженцы, составлявшие большинство, решили дело в пользу избрания Бирона, несмотря на протесты епископа краковского, утверждавшего, что курляндские чины преступили пределы прав своих, ибо по смерти герцога только король мог назначить сейм.

В Курляндии и в польском Сенате дело кончилось благополучно, но что скажут на сейме, тем более что коронный гетман Потоцкий обнаруживал враждебные для России замыслы? Самый важный вопрос, который должен был решиться на сейме, - это старый вопрос об умножении польской армии. Кейзерлинг считал утвердительное решение этого вопроса опасным. "Так как, - писал он в мае 1738 года, - коронный гетман уже обнаружил свои вредные замыслы, то надобно его силу уменьшать, а не увеличивать

увеличением войска. Я здесь внушал, чтоб это увеличение произошло без отягощения королевских духовных и шляхетских имений, внушал, что оно возбудит подозрение воюющих держав и заведет республику далеко. Главным вождям диссидентов, которых много в Великой Польше, я внушил смотреть на сеймиках, чтоб увеличение войска никак не прошло: теперь представляется им благоприятный случай получить свободу своей религии и одинакие с католиками преимущества, но гораздо труднее будет этого достигнуть при сильной армии, которая будет подкреплять католическое духовенство". Но из Петербурга посланник получал указы - хлопотать, чтоб Польша приняла участие в турецкой войне; хлопотать, чтоб Польша вступила в войну, и в то же время препятствовать увеличению ее войска было нельзя, и потому Кейзерлинг писал, что если республика вступить в войну не согласится, то он будет мешать увеличению ее войска. В сентябре Кейзерлинг переехал из Дрездена в Варшаву, где составила комиссия для изыскания средств к увеличению войска и уже нашла столько денег, что на них можно было прибавить от 15 до 18000 человек. Кейзерлинг обратился к главным своим друзьям, Понятовскому и Чарторыйскому, с внушением, что Польше следует принять участие в войне. Те отвечали, что они вполне согласны насчет необходимости войны, но вот беда: фельдмаршал Миних в последнюю кампанию прошел чрез польские владения, и это дает возможность неблагонамеренным людям внушать шляхетству, что это сделано нарочно, чтоб втянуть республику в войну, ибо турки не преминули также войти в польские области и опустошить их.

В конце сентября начался сейм, и начался волнениями по поводу прохода русских войск чрез владения республики. Недоброжелательные говорили, что этот поступок противен данному на пацификационном сейме обещанию, что русские войска не будут более входить в польские владения. Кейзерлинг доказывал депутатам, что Миних имел полное право это сделать, ибо татары прежде, в 1737 году, напали на Украину чрез польские владения; если же этим проходом русской армии кому-нибудь из поляков был причинен убыток, то он непременно будет вознагражден. Но известно, что русскими солдатами подданные республики не биты до смерти, в плен не взяты, города и деревни не сожжены, что именно сделано татарами, и, несмотря на то, о татарах никто ничего не говорит. Но объяснения Кейзерлинга мало помогали, и он успел только в одном - что дело о проходе русских войск было отложено; этим временем посланник воспользовался, чтоб другого рода убеждениями "приводить земских послов к лучшему рассуждению и намерению". Так как не оказалось никакой надежды склонить сейм к объявлению войны Турции, то оставалось действовать против увеличения числа войска. Видя, что большая часть послов убеждена в необходимости этого увеличения, Кейзерлинг вместе с австрийским посланником и королевским двором положили действовать тайно и осторожно, именно давать вид, что умножение войска чрезвычайно для них желательно, а между тем действовать так, чтоб сейм принял умножение войска как дело

преднамеренное только (dispositive). Это было легко сделать именно потому, что между желающими умножения войска было несогласие относительно того, чем содержать его и от кого оно должно зависеть; так, некоторые хотели, чтоб учреждена была ландмилиция, зависящая от короля и республики, что было оскорбительно для Потоцкого, видевшего здесь недоверие к себе. А между тем срок сейма истекал, и сам гетман, требовавший сначала действительного умножения войска, за день до заключения сейма отказался от своего требования и согласился, чтоб постановлено было преднамеренное умножение. Но уже было поздно, никакие вопросы решены быть, не могли, и сейм "рушился бесплодно".

Потоцкий уехал с сейма недовольный и не переставал обнаруживать вражду к России. Весною 1739 года татары вторглись в русские пределы из польских владений, где встретили по распоряжению гетмана самый дружественный прием, были снабжены всем нужным. К Потоцкому отправлен был генерал-майор Даревский, которому Кейзерлинг дал две инструкции - явную и тайную. В явной Даревскому предписывалось удостоверить гетмана и всех других, что Россия свято сохранит договоры с Польшею во всех пунктах, и для предупреждения всякого враждебного столкновения между русскими и поляками ему, Даревскому, и велено быть при гетмане, уверить Потоцкого в милости императрицы и в готовности показать действительные ее опыты. В тайной инструкции говорилось: обнадежить коронную гетманшу действительными опытами высочайшей милости и щедрости, как только окажутся полезные действия ее стараний. Так как генерал Мир и староста Струтинский имеют сильное влияние на гетмана, то стараться всякими способами привлечь их на сторону России. Можно дать знать генералу Миру, что он сильно обнесен при королевском дворе и держится в своем чине только силою гетмана, но гетман стар и слаб, следовательно, его покровительство не может быть продолжительное, и потому благоразумие требует искать другого покровительства, именно покровительства русской императрицы; обнадеживать его и пенсией, и ходатайством за него, Кейзерлинга, при польском дворе. Нужно также деньгами и всякими другими способами привлечь на свою сторону Струтинского, чрез которого идет тайная корреспонденция, чрез него, следовательно, можно будет открывать французские, шведские и турецкие намерения. Кроме этих инструкций Даревский был снабжен письмами от Понятовского и Чарторыйского, а главное - от жены коронного маршала Мнишка, матери гетманши Потоцкой; Кейзерлинг более всего надеялся привлечь Потоцкого *этим каналом*, т. е. посредством тещи, которой дано было 1500 червонных и обещано 20000 ефимков. Дочери ее, Потоцкой, дано было 1300 червонных. Кроме этих лиц литовскому гетману князю Вишневецкому дано было 800 червонных и жене его - 2500; самому коронному гетману Потоцкому подарены были часы в 700 червонных; примас получил ежегодной пенсии 3166 червонных; духовник его - 100 червонных; сеймовому маршалу на сейме 1738 года дано было 1000 червонных, разным земским послам - 33000, князю Радзивиллу, воеводе

новогрудскому, - 500, некоторым постоянным пенсионерам - 1672 червонных.

Известие о проходе Миниховой армии чрез польские владения опять подняло сильное волнение. Даревский писал, что он в успехе поверенных ему дел сильно сомневается и считает пребывание свое при гетмане бесполезным. Кейзерлинг написал Мнишку и жене его, чтоб они немедленно ехали к Потоцкому и своим присутствием приводили его к лучшему намерению. Кейзерлинг приписывал враждебность Потоцкого особенно тому, что Миних не принял его ходатайства за одного жида. "Он не меньше честолюбив, как и сребролюбив, и турки пользуются этою его слабостью", - писал посланник. Но волнения в Польше все усиливались, толковали о конфедерации; поляки из Франции присылали письма в Польшу, что еще нельзя отчаиваться, чтоб старый отец отечества, т. е. Лещинский, снова не явился в Польше. Кейзерлинг на каждой почте внушал Даревскому, чтоб приклонять коронного гетмана на русскую сторону, хотя бы для этого надобно было истратить большую сумму денег. Даревский писал ему, что Миних уже обещал Потоцкому 100000 рублей и Потоцкий хотя не принял, но и не отвергнул, а обещал снестись с коронным маршалом Мнишком и его женою. 23 августа графиня Мнишек уведомила Кейзерлинга, что Потоцкий намерен соблюдать строжайший нейтралитет и уже вступил с Даревским в секретную и конфидентную конференцию. Но относительно коронного гетмана Кейзерлинг не мог успокоиться, тем более что коронный подканцлер Малаховский сообщил ему проект союза между Польшею и Турциею, с которым подольский стольник Гуровский ездил в Константинополь от Потоцкого и некоторых других сенаторов. В этом проекте поляки предлагали составить конфедерацию, для чего требовали от Порты от 3 до 400000 червонных займы, и Порта обещала исполнить это требование, как скоро конфедерация будет составлена. Порта согласилась и на другое требование - выставить у Хотина и Сорок 50000 турок и татар для подкрепления поляков в их действиях против русских. Поляки требовали, чтоб Порта побудила Швецию прислать к ним на помощь 10000 пехоты и 500 офицеров для обучения польских войск. На это требование Порта отвечала, чтоб поляки сами снесли об этом с Швециею. Гуровский получил в Константинополе в подарок 6000 ефимков и шесть лошадей и по возвращении подговорил несколько хоругвей коронной армии, соединил их с турецким войском, после чего издал универсалы, призывая к конфедерации воеводство Подольское, но подольский воевода Ржевуский удержал шляхту в покое. Между тем вступление русских войск в пределы республики и грабежи козаков продолжали подавать повод к волнениям, и король для их успокоения по внушению Кейзерлинга отправил как в Петербург, так и в Константинополь посольства с требованием вознаграждения за убытки и достаточного обнадеживания, что впредь с обеих сторон польские границы не будут захватываемы. Но Кейзерлинг продолжал беспокоиться. "Как знатное, так и мелкое шляхетство, - писал он, - почти повсюду желает усиления армии; так как оно твердо уверено,

что зависть соседних держав их к тому никогда не допустит, и так как это дело без сейма провести нельзя, а сеймы постоянно рвутся, то уже в прошлом году многие были того мнения, и мелкому шляхетству внушали, что усиление армии может быть произведено только посредством конфедерации, а я конфедерации больше боюсь, чем конвенции Гуровского, тем более что продолжительная война может им в том способствовать и развязывать руки".

Известие о заключении мира между Россией и Портою успокоило посланника, так что когда в конце 1739 года из Петербурга указали ему на опасность от шведских интриг, то он отвечал: "Слова и представления шведского министра в Польше суть пустые чаши, которые если золотом не наполнены, у поляков никакого впечатления и звука не производят; я старался разведать, употребляет ли шведский министр этот магнит, и, узнав, что ничего из Швеции ему не прислано, успокоился, а теперь, при заключении мира с Портою, еще менее можно опасаться".

Между тем приближалось время сейма. Весною 1740 года граф Брюль объявил Кейзерлингу, что король примет за знак дружбы, если получит конфидентное изъяснение, охотно ли императрица желает, чтоб сейм состоялся, и что желает на нем провести, и склонна ли помогать тому, чтоб он состоялся. В первом случае надобно заблаговременно пресечь все препятствия к успешному окончанию сейма. Первое препятствие - это жалобы многих на обиды, причиненные русскими войсками при проходе их чрез польские области: самый легкий способ к отстранению этого препятствия - назначить с русской стороны некоторую сумму денег, которую русские комиссары разделят между вельможами, а эти между мелкою шляхтою. Но самый лучший способ к тому, чтоб сейм не порвался, - это провести умножение войска, чего польская нация так усердно желает. Король не несклонен удовлетворить желанию нации, которая не может равнодушно видеть свои обнаженные границы подверженными насильственному вербованию и другим дерзостям со стороны соседних держав. Приведение этого пункта всего больше поможет сейму состояться, и потому король заблаговременно желает знать, угодно ли будет императрице чрез своих друзей проводить умножение войска.

Но решение этого вопроса было важно не для одной России. К Кейзерлингу явился прусский резидент Гофман с объявлением, что король его по дружбе к императрице и по общему соседственному интересу относительно Республики Польской приказал ему поговорить с ним откровенно и условиться, как действовать на сейме, как Отвращать вредное и содействовать полезному. Здесь преимущественно важны три пункта: 1) умножение войска, что не может быть очень приятно для соседей; 2) вопрос торговый; 3) диссидентское дело. Относительно первого пункта Гофман объявил, что по сентиментам его короля умножение войска не доброе дело, и, следовательно, лучше было бы сейм разорвать. Кейзерлинг отвечал, что умножение войска будет не так велико, чтоб могло возбудить

опасение соседних держав; очень сильного увеличения войска не может допустить и сам король польский из опасения чрезмерно увеличить значение гетмана; притом дело еще далеко до конца, ибо если увеличение войска составляет предмет общего желания, то, с другой стороны, существует сильное разногласие относительно способов этого увеличения - разногласие по вопросу, откуда брать деньги на содержание войска. Следовательно, все, что может сделать настоящий сейм, - это назначить комиссию для обсуждения вопроса. И так как умножение войска есть предмет общего желания, то стараться противодействовать исполнению этого желания - значит возбуждать против себя всеобщую ненависть, а секретно это делать нельзя, потому что надобно употреблять поляков же; наконец, если поляки увидят, что чужие державы разрывают сеймы для воспрепятствования умножению войска, то обратятся к чрезвычайному средству - к конфедерации, что будет для соседних держав гораздо опаснее. Что касается религиозного вопроса, то поднимать его на сейме бесполезно, ибо всякий раз, как он был поднимаем, постановления против диссидентов подтверждались новыми, более для них тяжкими; надобно настаивать на одно - чтоб привелено было в действие сеймовое постановление 1736 года о комиссии для исследования диссидентского дела.

Кейзерлинг тем более опасался усиливать нерасположение к России, что враждебные действия против нее некоторых, и знатнейших, вельмож продолжались. Воевода подольский Ржевуский успел склонить известного Гуровского к тому, что тот инкогнито приехал в Варшаву и подал королю подробный донос о сношениях вельмож с турками: условлено было образовать конфедерации, и когда волнение распространится, то сильному корпусу турок действовать в Польше, другому корпусу вторгнуться в Богемию, Силезию и идти далее в глубь цесарских владений, а шведам действовать из Финляндии. Связь польских вельмож с Турциею и Швециею еще не прекратилась, сношения продолжаются, часть переписки идет через него, Гуровского, но он обязуется доставлять ее королю. В награду за это Август III назначил Гуровскому ежегодную пенсию. Ночью Ржевуский привез Гуровского к Кейзерлингу, и тот узнал от него, что гетман Потоцкий с трудом согласился войти в обязательство с Портою, а покойный примас был того мнения, что время выбрано неудобное и они находятся не в такой силе, чтоб могли привести в действие задуманный план. Сильнее всех действовал воевода бельзский Потоцкий, который в 1739 году вместе с шведским министром выпытывал у прусского резидента Гофмана, будет ли его король помогать этому предприятию. Гофман отвечал, что он не берется вести это дело, пусть пошлют в Берлин поверенного, который сделает предложение самому королю. Воевода бельзский отправился в Берлин, и король обещал дать конфедератам 50000 ружей с штыками. Кейзерлинг дал Гуровскому 1000 ефимков.

Так обнаруживалась дружба прусского короля к императрице, дружба, о которой говорил Гофман. Мы видели, что помехою этой дружбе были

польские дела, возведение на польский престол курфирста саксонского, который, опираясь на Россию и Австрию, не считал для себя необходимым удовлетворять прусским требованиям. В начале 1735 года Ягужинский был смнен при прусском дворе известным нам бароном Бракем, который был принят королем очень милостиво. "Король, - писал Бракем, - все делает своею головою один, и министры о королевских решениях, ежедневно изменяющихся по конъюнктурам, узнают только тогда, как они уже состоялись. Проект общего мира, предложенный морскими державами, очень не нравится при здешнем дворе. Король за столом, за которым и я имел честь обедать, говорил в очень сильных выражениях о французах, если они примут проект и покинут Станислава. Нельзя описать злобу, которую все здесь питают к королю Августу. Я долго разговаривал с тайным советником Тулемейером, который рассуждал, что Петр Великий с цесарским и здешним дворами согласился никак не допускать саксонского наследного принца на польский престол, а теперь оба императорские двора, обойдя Пруссию, эту конвенцию уничтожили и хотят насильно поддержать на польском престоле саксонского курфирста против воли прусского короля, у которого ключ к дверям Польши; следовательно, без Пруссии Август никак не удержится на престоле, хотя бы вся Европа была за него. Нельзя понять, для чего императорские дворы хотят усиливать саксонского курфирста, который сам по себе силен, имеет восемь миллионов дохода и может выставить 30000 войска; для чего хотят ему подать случай по смерти цесаря прежде всех нарушить прагматическую санкцию, Богемию и Силезию отобрать, установить наследственность польского престола в своем доме и, наконец, сделаться самодержцем в Польше. Я отвечал, что опасения насчет усиления курфирста саксонского неосновательны, гораздо вредней всем соседям, и особенно Пруссии, польский король, который в союзе с Франциею и Швециею и в зависимости от них. Королю не нравилось, что Россия посылает цесарю вспомогательный корпус; он говорил австрийскому посланнику князю Лихтенштейну: "На русское войско никак полагаться нельзя, оно вовсе не так хорошо, как о нем разглашают, притом за недостатком мундира и прочих потребностей не в состоянии предпринять дальнего похода; я уже 20 лет с ними обхожусь и знаю, сколько на них можно полагаться". Самому Бракему король выражал опасения, чтобы Август III не сделался самодержавным в Польше и чрез это страшным для соседей; о герцогстве Курляндском сказал, что оно очень нужно для Лифляндии и со временем к ней может быть присоединено. Фридрих-Вильгельм прямо сказал Лихтенштейну: "Я знаю, что мои министры и придворные взяли и берут деньги от французского правительства, но я на них за это не сержусь, потому что французские деньги в моем государстве обращаются".

В июне Бракем писал, что здоровье короля очень плохо: страшно кашляет и левая рука сохнет; за обедом, на котором был и посланник, король говорил с наследным принцем и князем Дессау только о своей скорой смерти, какие пойдут после нее перемены и расходы, так что все собранное им в короткое время будет истрачено. Но опасения скоро рассеялись, и в

августе король просидел целую ночь, пиша проект об улажении польских дел: он никак не мог привыкнуть к мысли, что Август останется на польском престоле, а потому, видя, что Станислав должен отказаться от него, предлагал, чтоб оба соперника отказались, и Станислав, и Август, и поляки пусть выберут кого-нибудь третьего из своих, а Станислав и Август пусть пользуются королевским титулом и получают некоторую сумму денег. Ночь пропала даром: Август III не думал отказываться от польского престола, и досада Фридриха-Вильгельма вследствие известной его страсти разрешилась самым смешным образом: к Бракелю явился камергер Полниц с просьбою, нельзя ли склонить польского короля, чтоб хотя прислал в подарок шесть человек великанов; Бракель отвечал, что если прусский король в вознаграждение за свой плохой нейтралитет поспешит поздравить Августа III польским королем, то последний, конечно, окажет свою благодарность великанами. Полниц проговорился, что прислан самим королем. Польские вельможи, приверженцы Станислава, нашедшие убежище в Пруссии, должны были заплатить за гостеприимство великанами.

В 1736 году Бракель писал: "Здесьние министры меня обнадеживали, что король по получении ведомости о сдаче Азова большую радость оказывал и велел меня поздравить, а так как здесь ласки и учтивости понапрасну не оказываются, то думаю, что явится просьба о позволении набрать в России несколько великорослых людей". Когда в июле месяце берлинский обер-директориум представил королю ведомость о вреде, причиненном разливом рек, то Фридрих-Вильгельм написал в ответ: "В Пруссии у меня украдено 30000000, бог взял у меня два миллиона: да будет воля господня, яко на небеси и на земли". "Это христианское утешение, - замечает Бракель, - подкреплено огромного роста неаполитанцем, который прислан в подарок королем доном Карлосом".

Весною 1737 года сильный интерес в Берлине был возбужден вопросом об избрании курляндского герцога. Однажды за столом король сказал Бракелю, что бьется об заклад в 1000 червонных, что герцогом будет выбран граф Бирон. Бракель отвечал, что может статься, только Бирон несколько о том не старается, и ее величество обнадежила курляндское шляхетство, что она в это дело не мешается. "Однако два полка русского войска в Курляндию вступили, и туда же отправлен русский эмиссар", - заметил король. Несмотря на готовность биться об заклад, известие об избрании Бирона чрезвычайно неприятно поразило берлинский двор: надеялись, что срок избрания назначен будет польским королем и республикой и потому будет время выдвинуть прусских кандидатов. Король прямо обратился к Бракелю с упреком, что курляндское дворянство принуждено было к избранию генералом Бисмарком и его полками. Но все должно было ограничиться упреком, потому что Пруссия находилась во враждебных отношениях почти ко всем своим соседям, особенно к Ганноверу, вследствие насильственных вербовок, которые Фридрих-Вильгельм позволял себе в чужих владениях; притом очень занимал вопрос

о юлихбергском наследстве; наконец, здоровье короля день ото дня становилось все хуже. Когда в начале 1739 года Бракель откланивался Фридриху-Вильгельму перед отъездом своим в Вену, то король просил его уверить императрицу, что если Швеция или Польша нападут на Российскую империю, то он и без требования с русской стороны готов помогать всею своею силою, в чем обязуется королевским словом и честью, только просит полного доверия и откровенности, потому что граф Левенвольд не откровенно с ним поступал, откуда и произошло несогласие в польском деле и некоторая невольная холодность между обоими дворами; он с своей стороны охотно все забывает и надеется также забвения со стороны императрицы. В начале 1740 года больной король был очень огорчен известиями, что Франция проводит его относительно юлихбергского дела и находится в тесной связи с Швециею, которую хочет наградить в Лифляндии. В присутствии Бракеля Фридрих-Вильгельм сказал шведскому послу: "Приведенные в Финляндию шведские войска при теперешней продолжительной службе или померзнут, или с голоду помрут, и русским там некого будет бить".

В феврале Фридрих-Вильгельм уже слег в постель, тихо и покорно слушал внушения духовных, говорил с сыном, как отец и друг, уговаривал его не предаваться французским прелестям, особенно не позволять театров и маскарадов, объявил духовенству, что от души прощает всем своим врагам, между которыми самый злой - шурина его, король английский, просил жену свою написать об этом брату, однако не прежде кончины, а между тем велел распечатывать все письма, чтоб знать, что пишут о его болезни. Потом королю стало легче, он переехал в Потсдам и продолжал там бороться с подагрой и водяною, к величайшему изумлению медиков, которые утверждали, что всякий другой человек не мог бы бороться и половину того времени. Наконец, 20 мая Фридрих-Вильгельм I умер, и на прусский престол вступил Фридрих II. Находясь в памяти до последней минуты, Фридрих-Вильгельм в присутствии министра Подевильса представлял своему наследнику пользу и необходимость союза с Россиею, уговаривая Подевильса утверждать нового короля в этом мнении; просил наследника ни в чем не торопиться, год или более оставить все как было, пока основательно не изучит людей. Бракель доносил, что старый король умер вовремя, потому что в Берлине хлеба уже не было, и если бы Фридрих-Вильгельм прожил еще два дня, то в народе необходимо произошло бы волнение. Первым делом нового короля было отворить магазины и продавать хлеб за половинную цену. Потом он приказал навеститься у знаменитого Потсдамского корпуса, состоявшего из великанов, каким образом каждый солдат туда попался и кто желает продолжать службу или не желает. Почти все русские (около 300 человек) объявили, что желают возвратиться в отечество, и прислали об этом просьбу к Бракелю. Тот писал императрице: "Так как из них почти все вашим величеством или вашими предками присланы в подарок покойному королю, то неприлично было бы требовать их назад; впрочем, можно найти средство освободить этих людей с соблюдением благопристойности".

Новый король прислал к Бракелю министра Подевильса с объявлением, что он предпочитает русский союз другим, причем Подевильс внушал от себя, что в Петербурге должны пользоваться таким добрым расположением Фридриха II. Бракель советовал своему двору ждать предложений и условий из Берлина; предложения обязательного союза действительно пошли в ход, когда в октябре получено было потрясающее известие о смерти императора Карла VI. В Берлине говорили, что Франция теперь снимет маску и старый кардинал по известной своей политике с миролюбивою умеренностью воспользуется случаем для приобретения нескольких земель и мест. Думали, что курфирст баварский вступит в Верхнюю Австрию, Богемию или Тироль, турки разорвут мир, венгерцы взбунтуются. "Какие меры здешний двор при этом примет, - писал Бракель, - о том знать нельзя, потому что король едва ли с своим министерством будет об этом советоваться; во всех важных делах он действует сам собою. Несмотря на жестокою лихорадку и опасения докторов, он работает день и ночь, сочиняет проекты, особенно хлопочет об усилении торговли в своих землях. Прилагаю извлечение из оригинальных рескриптов, из которых видно, какие проекты сочинены для привлечения рижского торгова в Кенигсберг. Императорская Коммерц-коллегия, конечно, будет думать о способах, как бы предупредить это намерение".

Понятно, что Франция сильно хлопотала о привлечении молодого прусского короля на свою сторону и могла обещать себе успех, потому что известна была склонность Фридриха II ко всему французскому. Кантемир писал к своему двору из Парижа: "Будет большое счастье, если английский король будет в состоянии уничтожить склонность нового прусского короля к здешнему народу, а с французской стороны ничего не пропускают для улакания его прусского величества. Кардинал мне сообщил как приятную ведомость, что прусский король приезжал инкогнито в Страсбург, где был принят с большими учтивостями. На поступки прусских министров здесь как я, так и другие иностранные министры прилежно смотрим; до сих пор примечается одно, что с отличною учтивостью их принимают".

Легко понять также, что Франция, давно хлопоча о том, чтоб Северо-Восточная Европа оказывала ей не препятствия, а помощь в вопросе об австрийском наследстве, не могла не обратить внимания на Данию. В Копенгагене французский министр Шавиньи настаивал, чтоб датский двор заключил с Франциею субсидный договор, но датское правительство боялось, что эти обязательства с Франциею могут завлечь его в опасные дела, и предпочло субсидный договор с Англиею, который и был заключен в начале 1739 года. Ввиду шведских вооружений Алекс. Петр. Бестужев-Рюмин страшал датских министров внушениями, что если на севере начнутся беспокойства, то Россия принуждена будет всю торговлю свою перевести по-прежнему к Архангельску, отчего в зундской пошлине произойдет ежегодно от 70 до 80000 ефимков недобору, умалчивая о других вредных для Дании последствиях. "Хотя здесь, - писал Бестужев, - более десяти французских партизанов против одного истинного патриота,

которые не только к шведам, но и к туркам более, нежели к россиянам, склонны и всеми удобоумышленными способами домогаются оные мои инсинуации опровергать, однако довольно мог приметить, что на вышепомянутые мои инсинуации немалая рефлексия чинится, чего ради на все французские и шведские подвиги недреманно око имеется".

Стремления Франции усилить свое влияние в континентальных государствах возбудили наконец опасения и в Англии, заставили ее думать о сближении с Россией, которая сначала казалась такою отдаленною страной. Мы видели, в каком неприятном положении находился князь Кантемир в Лондоне, когда он видел ясно, что английское министерство хочет во что бы то ни стало держаться *дешевой* политики невмешательства, а из Петербурга слали ему указ за указом хлопотать о союзе и высылке английской эскадры в Балтийское море. И после долго Кантемиру приходилось вести бесполезную борьбу против политики невмешательства. В феврале 1735 года он доносил о разговоре своем с Горасом Вальполем по поводу шведских субсидий: "Господина Вальполя ответ был, что в негоциации с шведским двором спешить не можно, понеже министерство английское не может безрассудно прибавлять обещанных Швеции субсидий, для того что министры английские должны друзей своих в парламенте хранить для своего безопаства. Вам-де известно, что противная партия не спит и всегда ищет внушать народу, что король много денег аглинских напрасно тратит: каким же образом министерство себя в даче Швеции великих субсидий извинить может, когда старается о негоциациях мирных с надеждою доброго сукцессу? Если мир заключится, к чему нам шведское войско? А если в войну вступим, то тогда время довольно нанимать войско. Мы-де знаем, что опасно, чтоб Швеция не вступила во французские интересы, да что ж нам делать? Обыкновения нашего народа нам руки вяжут и понуждают все дела делать с крайнею предосторожностью". Кантемир жаловался, что английское министерство "свое безопаство предпочитает общему европейскому интересу". Положение Голландии очень верно определил Кантемир в разговоре с лордом Гаррингтоном. Когда тот сказал, что ничего нельзя сделать прежде соглашения с Штатами, то Кантемир отвечал ему, что "он сам ведает, что в Голландии главнейшие правители охотно французов к самым дверям отечества допустят, нежели войну начнут, которая им статгалдера обещает, и что потому нечего от таких людей добра ожидать, если его английское величество своим образцом и другими способами не понудит к защите падающего европейского равновесия, на что он ответствен, что когда его в-ство примет резолюцию вступить в войну, то подлинно должен понудить Статов Генеральных или вступить в одни с его в-ством меры, или объявиться против его величества, понеже, пребывая неутральными, аглинской торг великий ущерб понесет".

В августе Кантемир имел долгие разговоры с Горасом Вальполем и герцогом Ньюкестлем, изъяснял им опасность, грозящую европейскому равновесию от чрезмерного усиления Франции; настаивал, что интерес

обеих морских держав требует предупредить вредные следствия этого усиления; обещал, что Россия будет помогать морским державам, если они решатся наконец на какой-нибудь смелый шаг в пользу цесаря. Из ответов обоих он заключил, что король Георг еще сам не знает, какие меры примет, и что Англия без Голландии войны не начнет.

Кончилась война за Польшу; началась турецкая война, и тут со стороны Англии такое же отсутствие сколько-нибудь энергических мер для ее прекращения. "Министерство английское желает видеть заключение мира, - писал Кантемир в 1737 году, - а каковы к тому способы интересовавшимся державам приличнее - не их печаль". Но когда Россия и Австрия приняли посредничество Франции, когда исход турецкой войны показал всю слабость Австрии, когда политика Франции торжествовала на севере и юге Европы, когда Англия вступила в войну с Испаниею и боялась, чтоб Франция не явилась на помощь последней, то в Англии почли необходимым сблизиться с Россиею, заключить с нею оборонительный союз и для этого отправили в Петербург полномочного министра Финча, тогда как до сих пор здесь находился только резидент Рондо. В сентябре 1740 года герцог Ньюкестль говорил князю Ивану Щербатову, сменившему в Лондоне князя Кантемира: "Франция под видом дружбы и посредничества в примирении Англии с Испаниею ищет всех способов теснить Англию точно так, как поступала и поступает с Россиею относительно Швеции, имея в виду всегда одни шведские интересы. Поэтому теперь время прежде шведского сейма для предосторожности от Бурбонского дома заключить союз между Россиею и Англиею, в который желательно также привлечь королей прусского, датского и польского, потом и голландцы могут войти в союз, но прежде они боятся открыть себя".

1740 год начался в Петербурге приготовлениями к чрезвычайным торжествам: с особенным великолепием, которое так любила императрица, хотели отпраздновать заключение мира с Портою. 14 февраля более 20000 войска было выстроено на Неве перед Зимним домом (дворцом) под командою генерала Густава Бирона. Императрица в богатой робе, с бриллиантовою короною на голове благоволила шествовать в придворную церковь, препровождаемая его высококняжескою светлостью герцогом курляндским. В церкви на амвоне секретарь Бакунин, окруженный герольдами, читал манифест о мире, после чего в передней перед церковью раздались литавры и трубы, на Адмиралтейской и Петропавловской крепостях загрохотали пушки, войска дали ружейный залп. Когда утихла пальба, преосвященный Амвросий вологодский произнес с немалым красноречием весьма изрядную проповедь. Но Амвросий несколько не заменял Феофана, и потому ему не позволялось говорить длинных проповедей. В 1737 году по случаю взятия Очакова императрица писала кабинет-министрам: "Господа кабинет-министры! При благодарительном отправлении службы божией и молебствовании говорить казанье вологодскому архиерею, токмо не очень пространное и не долгое". После

молебна императрица делала смотр полкам, которые палили с несказанною поспешностью и исправностью. По возвращении со смотра начались поздравления: предводимые обер-гофмаршалом графом Левенвольдом и генералом фон Любрасом, выступили вперед "от всех чинов Всероссийской империи яко депутаты" князь Черкасский, Волынский, фельдмаршалы Миних и Леси, и князь Черкасский от лица всей России говорил поздравительную речь, которая оканчивалась молитвою, чтобы русские, последуя стопам великой императрицы в заповедях божиих, могли творить угодное пред господом. А между тем по городу с помпою при звуках труб и литавр ездили герольды, читали манифест о мире и бросали в народ золотые и серебряные жетоны. Темнота ночи, последовавшей за этим торжественным днем, была почти весьма нечувствительна благодаря великолепной иллюминации, ибо и в самых бедных домах ни на одном окне меньше десяти свеч зажечь нельзя было. На другой день маскарад во дворце; 17 февраля угощение народу: герольды метали на все стороны золотые и серебряные жетоны, "и понеже сие в волнующемся народе производило весьма веселое движение, то ее императорское величество и прочие высокие особы чрез довольное время смотрением из окон веселиться изволили". Когда же народ ринулся к приготовленному для него кушанью и пущенному из фонтана красному вину, то высокие особы еще более увеселились. Во дворце потом бал и ужин, на Неве великолепный фейерверк: "И понеже огни в приближающийся к месту фейерверка народ нечаянно пущены были, то произвели они в нем слепой страх, смущенное бегство и великое колебание, что высоким и знатным зрителям при дворе ее и. в-ства особливую причину к веселию и забаве подало".

Очень многие могли сравнить это торжество срытия азовских укреплений, за которое было заплачено 100000 русских солдат, с торжеством Ништадтского мира при великом дяде и, сравнивая торжества, сравнить причины их. В манифесте о мире провозглашалось: "Война прекращена в благополучный мир... Чрез оный мир границы наши таким образом распространены, что они уже претерпенным донныне самовольным набегам и разорениям более подвержены не будут, но в потребную безопасность приведены; прежние известного несчастливого Прутского трактата кондиции вовсе уничтожены, и государство наше от таких весьма обидных, предосудительных и бесславных обязательств освобождено". Но многие могли не понимать, каким образом границы распространены так, что татары не могут более в них вторгаться; многие знали, что кондиции Прутского трактата не вовсе уничтожены. Во время фейерверка на Неве горели слова: "Безопасность империи возвращена", но уже было известно, что Порта заключает союз с Швециею, а Швеция грозит войною России. После мирных торжеств весною того же года велено было все крепости, и особенно *остзейские*, в надлежащую исправность и оборону приводить с возможным поспешением. Было известно, что Франция подняла в Швеции антирусскую партию, и в то же время Франция посредничала при заключении мира России с Портою, и в Петербурге на придворном балу по

случаю мирного торжества видели давно небывалое здесь лицо: открывал бал менуэтом с цесаревною Елисаветою Петровною французский посол маркиз Шетарди, который во время польской войны так сильно действовал в Берлине против России. Его ждали с нетерпением в Петербурге, надеялись, что с его приездом разъяснится дело и Россия успокоится насчет Швеции, но живой, ловкий, любезный маркиз относительно дел политических хранит упорное молчание. Зачем же приехал Шетарди в Россию?

Французский агент Лалли в записке своей о положении России, поданной кардиналу Флери, говорил: "Я не могу дать более простой и в то же время более верной идеи о России, как сравнив ее с ребенком, который оставался в утробе матери гораздо долее обыкновенного срока, рос там в продолжение нескольких лет, вышед наконец на свет, открывает глаза, протягивает руки и ноги, но не умеет ими пользоваться; чувствует свои силы, но не знает, какое сделать из них употребление. Нет ничего удивительного, что народ в таком состоянии допускает управлять собою первому встречному. Немцы (если можно так назвать сборище датчан, пруссаков, вестфальцев, голштинцев, ливонцев и курляндцев) были этими первыми встречными. Венский двор умел воспользоваться таким положением нации, и можно сказать, что он управлял петербургским двором с самого восшествия на престол нынешней царицы". Лалли оканчивает свою записку так: "Россия подвержена столь быстрым и столь чрезвычайным переворотам, что выгоды Франции требуют необходимо иметь лицо, которое бы готово было извлечь из того выгоды для своего государя".

Таким лицом и был маркиз Шетарди, присланный затем, чтоб освободить Россию из-под австрийского влияния и подчинить французскому, и если этого нельзя было сделать с помощью настоящего правительства, то произвести переворот, в возможности которого уверяли. На первое было мало надежды: связь петербургского двора с венским, как казалось, была еще более скреплена выдачею замуж племянницы императрицы Анны Леопольдовны мекленбургской (дочери герцогини Екатерины Иоанновны) за принца Антона брауншвейгского, племянника цесаревны. Кантемир писал, что во Франции недовольны этим браком: когда он известил о нем, то ни король, ни Флери, ни Амелот не отозвались никаким комплиментом. Во Франции очень хорошо понимали значение России; Кантемир писал в 1740 году: "Статского секретаря Морепса недоброжелательство к России основано на его нраве: человек высокомерный и друг одного своего народа, он не только не любит народов чуждых, но тем и хвастает, и так как между всеми державами Россия может более других противиться здешним намерениям, то его недоброжелательство и направлено преимущественно против нее. В деле пенсии математику Мопертюи, как я под рукою проведаль, ему, Морепса, противно показалось, что ваше величество хотели последовать примеру Людовика XIV, награждая ученых людей и вне своего государства, как будто такая слава была позволена только здешним

государям". В инструкции Шетарди говорилось: "Россия в отношении к равновесию на севере достигла слишком высокой степени могущества, и в отношении настоящих и будущих дел Австрии союз ее с австрийским домом чрезвычайно опасен. Видели по делам польским, как злоупотреблял венский двор этим союзом. Если он мог в недавнее время привести на Рейн корпус московских войск в 10000, то, когда ему понадобится подчинить своему произволу всю империю, он будет в состоянии наводнить Германию толпами варваров. Германские владетели так разъединены и так слабы, что от них нельзя ожидать твердой решимости предотвратить такое великое несчастье - предвестник их будущего падения, и его величество давно обдумывает способы воспротивиться тому". Указывая на то, что сделано Францией в недавнее время в Швеции, инструкция дает знать, что все это сделано с целью держать Россию в постоянном опасении со стороны Швеции и этим ослаблять выгоды русского союза для Австрии. Потом инструкция прямо высказывает ту мысль, что самое верное средство порвать союз между Австриею и Россиею - это правительственный переворот в последней: "Состояние России еще не обеспечено настолько, чтобы нельзя было ожидать внутренних переворотов. Иноземное правительство для своего утверждения ничем не пренебрегало в притеснении и разогнании старинных русских фамилий, но все еще остались недовольные гнетом иностранцев; они, вероятно, прервут молчание и бездействие, когда увидят возможность сделать это безопасно и с успехом. Теперь король не может иметь верных подробностей об этом положении, но, припоминая незначительность права, на основании которого герцогиня курляндская взошла на русский престол мимо принцессы Елисаветы и сына герцогини голштинской, трудно предполагать, чтоб за смертью царствующей государыни не последовали волнения. Очень важно, чтоб маркиз Шетарди, употребляя всевозможные предосторожности, узнал как можно вернее о состоянии умов, о положении русских фамилий, о значении друзей принцессы Елисаветы, о приверженцах дома голштинского, которые остались в России, о духе в разных отделах войска и командиров его, наконец, обо всем, что может дать понятие о вероятности переворота"

Шетарди наблюдает, выведывает, хотя ему это очень трудно по незнанию языка: он не может без переводчика объясняться ни с императрицею, ни с Бироном. Но ему не так нужно разговаривать с императрицею и Бироном, как с русскими вельможами, но из них он мог объясняться только с князем Куракиным, другие не умели говорить по-французски, да и не имели охоты сближаться с французским посланником. Шетарди признавался, что ему надобно вооружиться большим терпением. Несмотря на препятствия, Шетарди кой-что проведал и спешил донести своему правительству, что есть тайное волнение, возбужденное всеобщим и справедливым неудовольствием народа против владычества иноземцев, но прошедшее достаточно показало, что недоверчивость русских друг к другу и недостаток в людях с головой производят то, что никогда не найдут начальника, способного руководить при перевороте и дать ему успех;

притом же это подвержено затруднениям почти непреодолимым при таком тиранически деспотичном правлении; следовательно, с этой стороны, если не увлекаться химерами, нет никакой надежды. Даже нельзя много надеяться и на движение случае смерти царицы.

Есть тайное волнение, неудовольствие. Мы видели уже причины неудовольствия в самом начале царствования Анны, до переезда двора в Петербург. С 1732 года до 1740 причины эти не уменьшались, а увеличивались. Две войны следовали одна за другою; причины и выгодные следствия первой, польской войны для не посвященных в политические соображения были непонятны; понятны были побуждения ко второй, турецкой войне, но результаты ее были слишком ничтожны в сравнении с огромным пожертвованиями людьми и деньгами; предприятие явно не удалось, дело с начала до конца шло не так, как хотели, как надеялись. А тут вместе с разорением от войны башкирский бунт, голод, пожары, повальные болезни, неослабное и суровое взыскание доимок, неперестающие жестокости: свергают, заточают архиереев, не заподозренных в народе относительно их православия пытаются, казнят вельмож самых видных; нет пощады и людям менее значительным. Тайная канцелярия свирепствует страшно.

В беде человек любит жаловаться, ищет, на кого бы сложить вину, даже и тогда, когда никто из существ ответственных не виноват; тем сильнее жалобы, когда есть кого обременить ответственностью, когда есть существо, всем неприятное, за кого никто не заступится, которое находится в печальной необходимости заступаться само за себя против всех, имеет печальную возможность это делать. При Петре Великом и Екатерине I недовольные складывали вину неприятного им положения на фаворита Меншикова, при Петре II также на фаворита Долгорукого и его родственников. И теперь фаворит владеет волею государыни, управляет всем, но этот фаворит хуже всех прежних: те хотя и делали много зла из корыстных целей, но все же были свои, русские и неохотники до иностранцев, а теперешний фаворит - иностранец, немец, и окружен своими земляками. В указах часто говорится о великом дяде, о необходимости восстановить его полезные отечеству распоряжения, но главное правило великого дяди - не давать первенства иностранцам перед русскими, управлять посредством своих - это правило было забыто, а оно-то было всего дороже для русских. Народное чувство было сильно оскорблено, когда увидели небывалое явление - фаворита - иностранца; когда увидели первого кабинет-министра - иностранца, двоих действующих фельдмаршалов-иностранцев, президентов коллегий - иностранцев. С этим явлением не могли помирить никакие таланты, никакая благонамеренность, никакой блестящий успех в делах внутренних и внешних, а тут, как нарочно, главное лицо, фаворит, был человек без достоинств, бесплодно для России кормившийся на ее счет.

Сначала радовались падению прежнего фаворита и его родственников, но скоро неудовольствие на новых любимцев заставило благодушнее относиться к старым, и когда подвергся опале лучший из Долгоруких, фельдмаршал князь Василий Владимирович, то он уже явился героем-обличителем, погибшим за правду, за народное дело: в народе толковали, что Анна назначила наследником престола своего любимца Левольда (Левенвольда, обер-шталмейстера), что князь Василий в этом поперечил и за то сослан.

Скоро начали подвергаться опалам люди видные, за которыми в народе дурного не знали, и тем охотнее считали их невинными жертвами ненавистных иноземцев. Между людьми, сочувствовавшими попытке Голицына ограничить власть Анны, находился князь Григорий Дмитриевич Юсупов, который, как говорили, заболел и умер с горя, что попытка не удалась. Дочь его Прасковья бросилась к волшебству, чтоб чарами склонить к себе императрицу на милость. Дело открылось, и князю Юсупову в 1730 году сослали в женский Тихвинский монастырь. В 1735 году ее взяли в Тайную канцелярию по доносу служанки и стряпчего: донесли что она жаловалась на Анну, говорила, что было бы лучше, если б царствовала Елисавета, бранила Бирона. рассказывала, что при Петре Великом Анну и сестер ее царевнами не называли, а просто Ивановнами. За это Юсупову высекли кошками, постригли, назвали Проклою и отправили в Сибирь, в Введенский девичий монастырь (при Успенском Далматове монастыре). Там она оказалась *безчинна*, монастырское платье сбросила, Проклою не называлась; за это в 1738 году ее высекли шелепами.

В 1733 году с удивлением должны были узнать об опале человека знатного происхождения, занимавшего важное место смоленского губернатора, князя Александра Черкасского. Это дело Черкасского есть одно из самых любопытных дел Тайной канцелярии в том отношении, что доказывало всего лучше бессмыслицу тогдашнего розыска, пыток: человек невинный был приговорен к смерти, потому что оклеветал себя из страха пред дыбою. В Гамбурге к известному Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину является служивший прежде камер-пажем при дворе мекленбургской герцогини Екатерины Ивановны Федор Красный-Милашевич и открывает дело великой важности: смоленский губернатор князь Черкасский говорил ему, что теперь в России честным людям жить нельзя, кто получше, те пропадают очень скоро; к нему, Черкасскому, императрица была особенно милостива, Бирон рассердился и удалил его от двора в Смоленск. В Голштинии живет внук Петра Великого, законный наследник престола, которому он, Черкасский, привел на верность многих смольнян. Губернатор поручил Милашевичу ехать в Голштинию и отдать герцогу два письма, одно от него, Черкасского, другое от генерала Потемкина. Милашевич утверждал, что генерал Александр Потемкин со всею смоленскою шляхтою хочет поддаться Станиславу Лещинскому; утверждал, что цесаревна Елисавета ходила к польскому послу Потоцкому в мужском платье. Легко понять, как обрадовался опальный Бестужев-

Рюмин случаю освободиться от опалы, выслужиться у нового правительства открытием такого важного дела. Чтоб не упустить случая побывать в Петербурге и сблизиться с фаворитом, он сам повез Милашевича в Петербург. Сам Ушаков поскакал в Смоленск арестовать Черкасского и исследовать дело о преступных замыслах Потемкина - и не мог ничего открыть. Несмотря на то, дело Черкасского началось в особой комиссии, и несчастный оклеветал себя. Его приговорили к смертной казни, но приговор был смягчен: Черкасского сослали в Сибирь. В 1739 году Милашевич попался по другому делу и, будучи приговорен к смертной казни, объявил, что оклеветал Черкасского, который действительно советовал ему ехать в Голштинию, чтоб удалить его из Смоленска, ибо ревновал его к девице Корсак, в которую был влюблен. Милашевич поехал в Киль, не застал там герцога и, не имея денег, бросился в Гамбург к Бестужеву с вымышленным доносом.

В 1736 году имели наслаждение добраться до князя Дмитрия Михайловича Голицына. Поводом послужила тяжба зятя его, князя Константина Кантемира, с мачехою, княгинею Настасьею. Все обвинение изложено в допросе сыну князя Дмитрия действительному статскому советнику князю Алексею Голицыну: "В прошлом, 1735 году отец твой князь Дмитрий Голицын писал к тебе, что по челобитью вдовы княгини Настасьи Кантемировой на зятя твоего лейб-гвардии поручика князя Константина Кантемира в насильном владении недвижимого ее имения, которое ей дано после мужа ее, велено производить суд, а такого человека, который бы в том суде от стороны того зятя твоего поверенным быть мог, не имеет и годным почитает бывшего тогда Камер-коллегии камерира Лукьяна Перова, и чтоб ты его, Перова, с прошением к тому наговаривал, чтоб ехал в С. - Петербург, и явиться ему отцу твоему. Ты оного Перова сыскал и просил, чтоб он обязался по тому делу поверенным быть, и ежели пожелает, то обещал его произвести в Судный московский приказ секретарем. Когда Перов склонился, тогда ты написал к отцу своему письмо и доношение в Сенат о произведении его в московский Судный приказ в секретари и, запечатав то доношение в один конверт, послал с ним. Перовым, к отцу твоему. Объявлял ты Камер-коллегии членам, что отец твой велел их просить об отпуске в С. - Петербург; как на то члены отказали, что для партикулярного дела Перова отпустить невозможно, тогда ты стал просить, чтоб ему дали указ о взыскании репортов, ведомостей и ответов по камер-конторам. По окончании вышеписанного судного дела писал к тебе отец твой, приказывал просить Камер-коллегии членов о произведении Перова в Камер-коллегию секретарем. Потом как оный Перов секретарем произведен, писал к тебе отец твой, что хотя по упомянутому делу суд и окончен, однако ж Перов еще для того дела потребен и чтоб ты просил Камер-коллегии членов о бытии ему, Перову, в Петербурге в Камер-конторе секретарем. Ведая ты многие указы, что никому государевых людей к своим собственным делам не употреблять, для чего ты Перова проискал своими отнял от государственных дел, исходатайствовал из Москвы для партикулярного своего дела в Петербург,

и жалованье ему давано без всякого труда по должности его? В чины велено было производить за службы, показанные ее и в-ству и государству, а ты искал оного Перова в секретари произвести для своего партикулярного дела". 7 января 1737 года дан был указ судить кн. Дмитрия Голицына в Сенате кабинетному министру, сенаторам, вышнего суда членам вместе с генералитетом и флагманами и с коллежскими президентами и членами. В чем обвинен был сын, в том же обвинен был и отец; кроме того, прибавлено: 1) отговаривался всегда болезнью, не хотя государыне и государству по должности своей служить, положенных на него дел не отправлял; указы противным образом толковал и всячески правду испровергать старался; 2) некоторые доношения, присланные к нему из Москвы, подлежащие для подания в Сенат, у себя удержал и утаил; 3) научил Перова по делу зятя своего, кн. Кантемира, в суде поступать, вымышлять по тому делу неправость; 4) когда Перов некоторые слова от него противу закона божия и совести услышал и ему ответствовал, что надобно совестно рассуждать, и на то он, князь Дмитрий, так богу противно сказал, что будто совесть подлежит до одного суда божия, а не до человеческого; 5) да он же по призыванию в вышний суд к ответу не токмо такие богу противные слова подтвердил, но еще и злее того яд свой изbleвал, объявляя пред судом, что когда бы из ада сатана к нему пришел, то бы хотя он пред богом и погрешил, однако ж и с ним бы для пользы своей советовал и советов от него требовал и принимал. За такие противности, коварства и бессовестные поступки, а наипаче за вышеупомянутые противные и богомерзкие слова суд приговорил Голицына к смертной казни, но императрица по высочайшему милосердию повелела послать его в ссылку в Шлиссельбург и содержать под крепким караулом, а движимое и недвижимое имение все отписать.

Новый знаменитый заточник не нашел уже в Шлиссельбурге старого знаменитого заточника фельдмаршала князя Василия Владимировича Долгорукого: он был, переведен в Ивангород. Но в своем новом месте заточения Долгорукий был потревожен возобновлением дела своих родственников. О березовских ссыльных не забывали: для отображения у князя Алексея Григорьевича Долгорукого и детей его алмазных, золотых и серебряных вещей и у *Разрушенной* (так называли княжну Екатерину) портрета Петра II был отправлен гвардейский сержант Рагозин. Возвратившись в Москву из своей поездки в апреле 1732 года, он подал графу Салтыкову опись вещей, найденных у Долгоруких, о портрете же объявил, что, по показанию князя Алексея и дочери его, он был написан на бумажке за стеклом и носился на руке; при отъезде из Москвы в ссылку стекло разбилось, а бумажка затерялась, куда - не знают. В 1736 году майор Семен Петров был в Березове для допрашивания Долгоруких; в следующем году сын боярский Кашперов и атаман Лихачев были биты батогами и сосланы на службу в Оренбург за то, что бывали у Долгоруких и обедывали и их к себе принимали; за то же биты плетью и сосланы в Охоток три священника да дьякон. Наконец, в марте 1738 года в канцелярии свидетельства счетов Сибирской губернии служащий в ней

канцелярист Осип Тишин объявил, что, будучи при следствии майора Петрова в 1736 году, он слышал от князя Ивана Долгорукого злые и вредительные слова: неприличными словами он бранил императрицу за то, что разорила фамилию и род их весь, послушавши такой же... цесаревны Елисаветы, которая мстила ему, князю Ивану, за то, что он хотел заключить ее в монастырь, говорил, что императрица наказывала цесаревну плетью за дурное поведение; выражался об Анне: "Какая она государыня: она шведка!", порицая ее отношения к Бирону. Для розыска по этому доносу отправлены были в Сибирь гвардии капитан-поручик Федор Ушаков и поручик Суворов. Сначала князь Иван во всем заперся, но потом, когда нужно было приложить руку к белому допросу, повинился; рассказал и о написании ложной духовной. Его подняли на дыбу, но с пытки он прибавил только одно, что на исповеди духовнику березовскому священнику Федору Кузнецову покаялся в подписании ложной духовной и духовник сказал: "Бог тебя простит". Священник подтвердил показание князя Ивана, в свое же оправдание сказал, что не объявил о словах духовного сына спроста, думая, что Долгорукий и сослан за подписание ложной духовной. Тишину объявили его вины: слышал давно о воровской духовной и не донес, разбалтывал о своем доносе и брал с Долгоруких немалые взятки; несмотря на то, в награду за важность сделанного им доноса ему дали секретарство и 600 рублей денег. Тишин потом припомнил, что Долгорукий говорил: "Я никого так не боюсь, как Павла Ягужинского, он наш гонитель". Долгорукий признался, что говорил эти слова, ибо с Ягужинским у него и у отца его была ссора. Князь Александр Долгорукий как-то успел достать нож, проколол им себе руку и живот, но рану зашили. Долгоруких из разных мест свезли в Новгород и там допрашивали о сочинении духовной. Подробности их показаний уже приведены нами прежде в своем месте; здесь приведем только сказанное князем Василием Владимировичем в оправдание свое, почему он не объявил о духовной в 1730 году: "Думал я, что и кроме моего показания императрице известно, понеже по пришествии в Москву ее величество изволила ему сказывать, что князь Василий Лукич доносил ей во время шествия из Курляндии о дерзости князя Сергея и князя Ивана Григорьевых, что они министров бить хотели, ежели совету их слушать не станут, и притом ее величество спросила меня: было ли так? И я ей донес, что о их дураческом дерзновении что мне и доносить, когда уже князь Василий Лукич доносил; к тому же граф Гаврила Головкин о том, что князь Алексей с братьями дичь свию желал наследницею престола учинить, ведал, и оный граф Головкин благодарил меня, что от этих замыслов князь Алексея с братьями отвращал, почему надеялся я, что и чрез графа Головкина ее величеству уже донесено". Для суда над Долгорукими назначено было генеральное собрание. 12 ноября 1739 года выдан был именной указ, из которого узнали, что в Новгороде князю Ивану Алексеевичу отсечена голова после колесования; князю Василию Лукичу, князьям Сергею и Ивану Григорьевичам просто отсечены головы, князей

Василия и Михайлу Владимировичей велено держать в ссылке и, кроме церкви, никуда не пускать.

Разумеется, трудно было поверить, чтобы так жестоко наказаны были люди только за намерение, предпринятое ими десять лет тому назад и не приведенное в исполнение, после чего эти люди уже потерпели тяжкое наказание, и вот для объяснения новгородских казней придумали обширный заговор против настоящего нелюбимого правительства. В № 3 "Байрейтских ведомостей" (Bayreuther Zeitungen) 7 января 1740 года появилась статья с подробным описанием заговора Долгоруких, Голицыных и Гагариных с целью низвергнуть ненавистное иноземное правительство Бирона, придворного банкира жида Линмана, без которого фаворит ничего не делает, и возвести на престол цесаревну Елисавету, которая должна выйти замуж за Нарышкина, находившегося во Франции и с которым она была обручена.

Дали политическое значение делу Вас. Ник. Татищева. Мы видели, что он был задержан в Петербурге и на его место начальником Оренбургской экспедиции был отправлен князь Урусов. Полковник Тевкелев, сотрудник Кириллова и Татищева, подал на последнего донос Бирону в различных злоупотреблениях. Бирон передал дело на рассмотрение графа Михайлы Головкина, который по этому случаю писал герцогу в марте 1739 года: "Пред недавним временем изволил ваша светлость со мною говорить о Василье Татищеве, о его непорядках и притом изволил мне приказывать, что к тому пристойно, о том бы надлежащим порядком я представил, как в подобных таковых же случаях ее величеству и вашей светлости слабым моим мнением служил. И по тому вашей светлости приказу наведывался, какие его, Василья Татищева, неисправы, и разведал, что полковник Тевкелев вашей светлости о том доносил, того для я призывал его, полковника, и обо всем обстоятельно выспросил. Я из оного дела усмотрел два вида: 1) о непорядках, нападках и взятках Василья Татищева; 2) что он, Василий Татищев, еще не поставил на мере, где Оренбургу быть пристойно, а посему, что до первого вида касается, то необходимо надобно его, Василия Татищева, от тамошней команды отрешить и исследовать поблизости, в Казани, особливо учрежденной на то комиссии, где как ему, Вас. Татищеву, так и полковнику Тевкелеву для доказательств быть надобно, и что по следствию явится, тогда о том и рассудить можно будет, что делать; что же по второму виду рассуждать, то сперва доношу, что, когда Оренбурга. не было, тогда Россия много у себя повсегодно добра и людей теряла, для того что Башкирская земля почти вся окружена Россиею и отовсюду открыта, и тогда башкирцы иногда своим именем, а иногда именами других степных народов русскую землю разоряли и пустошили, и хотя по посылкам к ним нечто и возвращали, однако ж больше у себя оставляли, как пред несколькими годами брат мой граф Иван Головкин послан был для такого ж возврата и, уласкав их, башкирцев, взял у них 20000 семей русских, и по возвращении брата моего по старому их обыкновению не одну тысячу к себе выгнали, и так невидимо повсегодно

людей из государства умаливали и другим народам продавали, а особливо в Бухары, и тамошний Абулфаис-хан набрал себе из русских гвардию, в трех тысячах состоящую, а Иван Кириллов усмотрел сие место, где Оренбург, за способно быть более для коммерции, и понеже оное место от жилья в степь подалося, того ради принужден был дороги от него распорядить: 1) к Уфе, 2) к Самаре, 3) в Сибирь, к Екатеринбургским заводам, и по тем дорогам построил крепостцы для коммуникации и для безопасного проезда и провозу как провианта, так и прочего, и в те крепостцы поселил козаков и роздал им для их удовольствия земли, и то его учреждение очень хорошо, а всемогущий тот распорядок устроил для нижеследующего, ибо сии дороги стали быть мунстук на башкирцев на приклад; ежели они либо похотят взбунтовать и соберутся хотя сто человек, то разъезды по крепостцам тотчас сведают и не дадут им усилиться, к тому ж по прежнему своему обыкновению русских разорять и продавать им невозможно, ибо ныне везде связаны тем, что везде крепостцы, а мимо крепостей в степь проезду им нет и везде за ними глаза, и посему необходимо будут смиренны, следовательно, где ныне Оренбург, тут ему и быть необходимо, для того что он стал на границе киргизской и дороги от него охватили всю Башкирскую землю; к тому ж, когда Кириллов Оренбург закладывал, тогда башкирцы ему давали великие деньги, чтоб он на том месте его не строил, и для того надобно ему тут и быть".

Эта многоглаголивая записка Головкина, разумеется, нисколько не решала дела относительно Оренбурга, и мы видели, что кабинет-министры согласились с мнением Татищева, но Бирону не было дела до Оренбурга; для него важен был первый *вид* записки, и Татищев был предан суду. Для избежания перерывов мы не будем здесь говорить о ходе этого суда; заметим только, что предан был суду русский человек, бывший по смерти Феофана Прокоповича главным представителем новой России, новорожденной русской науки, русский человек, которого усердие и услуги императрице и ее власти были бесспорны; бесспорен был его горячий патриотизм - и его опала могла быть приписана только ненависти немцев к русской знаменитости или выказавшейся в чем-нибудь вражде русского патриота к ненавистному владычеству иноземцев.

Подвергся опале такой знаменитый воспитанник Петра Великого, как Татищев, но давно уже содержался под крепким арестом другой русский человек, неразлучный с преобразователем, его перо, - знаменитый Алексей Васильевич Макаров. Человек незнатного происхождения, Макаров, как близкий человек к Петру и Екатерине, встречал от всей знати самые льстивые, самые униженные заискивания, потому что мог в удобное время представить чью-нибудь просьбу государю или государыне. Легко понять, что Макарову менее всего могли простить за это, когда он перестал быть надобным человеком. Анна велела отобрать у Макарова письма, писанные ею в то время, когда ее звали просто Ивановною; Макарова затянули в дела по казенным злоупотреблениям, по недостатку отчетности, по каким-то злоумышлениям. Доказательств виновности не было, а между тем дело

тянулось, и старика держали под арестом. В августе 1737 года он писал императрице из Москвы: "Содержусь я, бедный, с женою и детьми под крепким арестом два года и девять месяцев, и в запечатанных пожитках платье и белье и прочие тленные вещи от долговременного лежания без просушки и от копоти после бывшего пожара без разбора тратятся (в том числе заготовленное к замужеству большой моей дочери материнское первой моей жены и мое); также, видя меня, в долговременном аресте содержащегося, деревнишки мои посторонние нападками разоряют; деньги, отданные в долги, на должниках пропадают, а взыскивать на них и по деревенским обидам оправдаться нечем, ибо все крепости с другими письмами забраны, что видя, жена моя и дети многопродолжительное время без отрады весьма сокрушились, а, на их горестные слезы смотря, я, низайший раб, от таких тяжких печалей пришел в крайнюю болезнь и слабость". Императрица вследствие этой просьбы отправила указ в Москву графу Салтыкову: "Понеже дело Алексея Макарова по указу нашему действительно рассматривается и к окончанию привелено быть имеет, того ради по особливому нашему милосердию указали мы его, Макарова, арест таким образом облегчить, чтоб ему в церковь божию ехать и прочие домашние нужды исправлять позволено было, только б впрочем по компаниям никуда не ездить, толь меньше из Москвы съезжать дерзнул, и в том его обязать надлежащим реверсом, также и к запечатанным пожиткам его допустить и их ему в диспозицию отдать можно, однако же взяв от него по обстоятельному всех тех вещей описанию крепкий же реверс, что из оных без позволения ничего не продать или иным каким образом на сторону не отдать и не растратить, а крепости его деревень из писем его приискать и к вам отправить велено".

Был в приближении у Петра Великого, который считал его полезным, необходимым человеком, а теперь не только не в приближении, но под арестом. Какая вина? Никакой вины нет; одна вина - русский, а теперь в приближении одни иноземцы. "Макаров - человек умный и милостивый и всем был приступен, когда был в силе, а ныне не так; мы надеялись было, что он останется в прежней силе при дворе государыни, а вышло не так, для того что нынче при доме ее величества больше все иноземцы".

Люди высших чинов говорили: "Ныне силу великую имеют обер-камергер (Бирон) и фельдмаршал Миних, которые что хотят, то и делают и всех нас губят; все от них пропали, и никто не смеет с ними говорить. Однако ж бог им заплатит, и сами того же будут ждать". Люди средних чинов говорили: "Бирон взял силу, и государыня без него ничего не сделает. Всем ныне овладели иноземцы. Лещинский из Данцига уехал миллионах на двух, не даром его граф Миних упустил; это все в его воле было. Граф Ягужинский обо всем писал к государыне, а когда граф Миних приехал в Петербург и повидался с Бироном, то и нет ничего, и все пропало: знать, что поделился с ним. Вот какие фигуры делаются у нас! Государыня ничего без Бирона не сделает - все делает Бирон. Нет у нас никакого доброго порядку. Овладели все у нас иноземцы. Бирон всем овладел". В монастырях говорили: "Как не

боготворяют чрево, когда, тирански собирая с бедного подданства слезные и кровавые подати, употребляют на объядения и пьянства, и как сатане жертвы не приносят, когда слезные и кровавые сборы употребляют на потехи? А на все это государыню приводят иноземцы, понеже у них крестьян нет и жалеть им некого, хоть все пропади, да хотя и есть у них, да не у многих, а хотя б и у всех были, так они брегут ли о наших русских крестьянах? Чай, хуже собак почитают. Пропавшее наше государство!"

Разумеется, люди, платившие слезные и кровавые подати, не молчали: они приписывали свои беды женскому правлению: "Где ей столько знать, как мужской пол? Будет веровать боярам; бабьи города никогда не стоят, бабьи сени высоко не стоят. Хлеб не родится, потому что женский пол царством владеет. При первом императоре нам житье было добро, а ныне нам стало что год, то хуже; какое ныне житье за бабою?" Крестьянин винился, что говорил дурные слова про Анну от горести, что за неплатеж подушных денег бит был на правеже. Раскольник пророчествовал, что в 1733 году на Благовещеньев день будет страх велик и гнев божий и сама Анна будет взята на суд в Москву; она из Москвы поехала, как бы ей от того отбыть.

Кто же может избавить от женского незаконного и несчастного правления? Разумеется, царь. Уже в 1730 году слышался говор, что Петр II отравлен Долгоруким и осемью другими боярами, но есть царевич, живет в горах. В 1734 году в тамбовских местах появились два самозванца - Тимофей Труженик, назвавшийся царевичем Алексеем Петровичем, и Стародубцев, назвавшийся царевичем Петром Петровичем; оба были схвачены и казнены.

В январе 1738 года в селе Ярославце Киевского полка остановились работники, шедшие за Десну для рубки леса. Один из них позвал к себе священника и начал ему говорить: "Я царь Алексей Петрович и хожу многие годы в нищенстве; поди объяви это в церкви пред всем народом; хотя мне смерть или живот будет, только б всем явно было, что я - царь Алексей Петрович подлинно, а как сие в дело пойдет и господь подаст мне счастье, я тебя тогда не оставлю; встретить меня в церкви с крестом и хоругвями, понеже пишет обо мне, чтоб я явился в Москве с болгары, однако все равно, что вместо болгар с малороссийским народом в Москве явлюсь, а если не сделаешь по-моему, то отрублю тебе голову". Священник отвечал, что во всем его слушать готов. На другой день самозванец позвал к себе солдат, стоявших в Ярославце на почте, и говорил им: "Я царь Алексей Петрович и ходил по разным местам, а ныне прямо о себе объявлю, пожалуйста послужите мне верою и правдою, как служили отцу моему, а я вас за это не оставлю". Солдаты пали на землю и со слезами говорили: "Хотя до больших наших бояр дойдет и хотя донесется и до самой государыни, мы готовы за тебя стоять". "Вставайте, - сказал им на это самозванец, - я вашу нужду знаю, будет вскоре радость: с турками заключу мир вечный, а вас в мае месяце все полки и козаков пошлю в

Польшу и велю все земли огнем жечь и мечом рубить". Между тем местное начальство узнало о необыкновенном событии, и сотник прислал козаков схватить самозванца, но солдаты, примкнув штыки к ружьям, взять его не дали и повели в церковь, около которой собралась огромная толпа народа; священник в ризах с крестом на блюде вышел на паперть, с ним несли хоругви; самозванец взял крест с блюда, приложился и вошел с ним в церковь, где были зажжены свечи и отворены царские двери; самозванец царскими дверями вошел в алтарь, поцеловал на престоле евангелие и стал в царских дверях с крестом в руках; священник начал молебен; на ектениях говорил: помолимся о благоверном нашем государе царе Алексее Петровиче и о государыне императрице Анне Иоанновне, и о государыне цесаревне Елисавете Петровне, и о государыне принцессе Анне; весь народ подходил к самозванцу, прикладывались ко кресту и целовали у него руку; потом самозванец положил крест, взял евангелие, и народ точно так же подходил к евангелию. По окончании молебна священник начал читать акафист Николаю Чудотворцу, но в это самое время вбегают в церковь сотник Климович со множеством козаков, схватывает самозванца за кафтан, вытаскивает из алтаря и из церкви, причем бьет палкою, потом отводит к себе на квартиру, кладет на ноги колодки, а на другой день отсылает в канцелярию Переяславского полка. В Тайной канцелярии самозванец объявил, что он польский шляхтич из города Поддубны Иван Петров Миницкий; лет 20 тому назад он вышел в Россию, приставши к одному гренадеру Кропотова полка; потом бродил по монастырям, где его постричь не могли вследствие строгих указов, ограничивших пострижение, но употребляли при управлении вотчинами; в последнее же время жил в работниках. Побуждением к самозванству выставил видение: явился ему Христос и сказал: поди, явись миру и объяви о себе, что ты царь Алексей Петрович, ты на это родился, и искорени Польшу, чтоб пришли в соединение веры. Видение повторилось; он рассказал об нем монаху Иоакиму Максимовичу, и тот отвечал ему: "Не наше это чернеческое дело, явися с тем миру". Максимович, призванный к допросу, объявил, что Миницкий, находясь в услужении в Киево-Печерском монастыре в разных должностях, бывал в исступлении ума и ничего не делал; когда он, Максимович, однажды спросил его, зачем он не работает, то Иван отвечал: "Что мне работать! Я человек не простой, явился мне Михаил-архангел".

Дело сочли важным по усердию, какое оказали солдаты к самозванцу, и решили произвести сильное впечатление восточными варварскими казнями. Миницкий и священник села Ярославца были посажены живые на колья; некоторые из участников были четвертованы, другим отрубили головы.

Тайная канцелярия работала с небывалым усердием, преследуя дело и слово, охраняя спокойствие страны и честь обер-камергера. Внизу ни одно дерзкое слово против фаворита не оставалось без жестокого наказания; наверху он был окружен раболепством. Все искало его покровительства, все осыпало его лестью. Цесаревна Елисавета собственноручно писала ему:

"Сиятельнейший граф! Ведая всегдашнюю вашу благосклонность, не хотела упустить, чтоб не уведомить ваше сиятельство о прибытии моем сюда (в Петербург) и желаю вашему сиятельству благополучного ж прибытия в Санкт-Петербурх; в прочем желая вашему сиятельству здравия и благополучного пребывания, остаюсь Елисавет". Жена князя Алексея Мих. Черкасского княгиня Марья писала: "Всенижайше благодарствую ваше сиятельство за все показанные вашим с-ством к мужу моему милости, а паче за всякие предстательства у ее и. в-ства, как и ныне я уведомилась из письма моего мужа, что ее и. в-ство всемилостивейше изволила пожаловать деньгами, о которой ее и. в-ства к нам, всеподданнейшим ее и. в-ству рабам, милости не сомневаюсь, что и вашего сиятельства по милости своей к нам предстательство было. И паки благодарствуя ваше сиятельство, всенижайше прошу и впредь в своих высоких милостях содержать неотменно. Нижайшая услужница княгиня Марья Черкасская". Дочь ее, княжна Варвара, посылала Бирону туфли, тканые серебром. Баронесса Марья Строганова обращалась к нему с жалобами на Татищева. Жалобы, как мы видели, действовали, да и нельзя было не действовать: баронесса для графини Биронши делала жемчужные нашивки.

Родственник императрицы граф Семен Андреевич Салтыков, управлявший Москвою, думал, что может держаться только при благосклонности фаворита, и потому писал к нему обо всем. 2 мая 1732 года он писал: "Прошедшего апреля 30 дня получил я от ее и. в-ства милостивое письмо, и притом пожаловала мне, рабу, на именины вместо табакерки 1000 рублей: истинно ко мне, рабу, милость не по моей рабской службе, истинно с такой радости и радуюсь и плачу". В том же году Салтыков счел нужным подарить Бирону мех лисий черный. Мы видели, что императрица была недовольна Салтыковым. Получивши от нее выговор, Семен Андреевич обратился к Бирону: "Вашему великографскому сиятельству, милостивому государю и отцу, слезноречивою моею совестью доношу, что по указам ее и. в-ства всенижайшее мое исполнение чиню и всякою моею ревностию и верно без всяких страстей и во всем правлении дел имею всегда неусыпное мое попечение и более к смотрению моему я уже не знаю как и делать, что так ее и. в-ству известно якобы о моих неисправностях. Милостивого государя и отца со всенижайшею моею покорностию прошу при благополучном времени о всем доложить ее и. в-ству и чтоб повелено было мне быть в С. - Петербурге, чтоб я мог ее и. в-ству о всем доносить обстоятельно и свою невинность представить; я уже здесь был опасен, чтоб мне безвинно не понести гневу ее и. в-ства, и как я сей указ получил от всемилостивейшей государыни, с того времени и поныне с такой моей несносной печали чуть жив хожу, только не даю себя знать людям, чтоб меня не могли признать в такой моей несказной печали". Бирон отвечал любопытным письмом: "Вашего сиятельства письмо я с моим почтением получил, но токмо что я из оногo усмотрел немалую вашу печаль и о том сердечно сожалею, а особливо для того, что я про тот указ который от ее и. в-ства ваше сиятельство получить изволили, до получения вашего письма был неизвестен, понеже он писан не здесь и не тем ее в-ства секретарем,

который при мне обретается. Что же до меня надлежит, в том я уповаю, ваше сиятельство, довольно сами можете засвидетельствовать, что я во внутренние государственные дела ни во что не вступаю, кроме того, ежели такая ведомость ко мне придет, по которой можно мне кому у ее в-ства помогать и услужить сколько возможно или что надлежит до общего к пользе и интересу вашему, хотя б и не по моей должности что было, однако ж старания моего никогда прилагать не оставляю, ибо, как вашему сиятельству известно, что я уже давно в службе ее в-ства обретаюсь, а еще надеюсь, что никто на меня ни в какой обиде жаловаться причины не имеют, особливо же вашему сиятельству от сердца моего желаю всякого благополучия и тому радуюсь, когда ваше сиятельство находитесь в состоянии. О порядке дворцовых волостей ныне я потому ж неизвестен и ни от кого при дворе не слыхал, что они разорены или в лучшее содержание приведены, також и доходы прибавлены или умалились, но токмо, как пред сим от многих ее величеству учинилось, известно, что Раевской, который ими правит, яко бы человек непотребный и весьма худого состояния и от несмотрения его волости дворцовые все разорены, то я еще прошлого года вашему сиятельству о том ясно сообщил, и как на оное мое сообщение ваше сиятельство изволили ко мне отозваться, что те люди напрасно поношение терпят и ни в чем не винны, то уже я затем более в. с-ству и припоминать не хотел. О прибытии вашем сюда я, изыскав благополучное время, ее величеству докладывать буду".

Бирон во внутренние государственные дела не вмешивался, только принимал просьбы, чтоб оказать услугу просящим, да принимал еще участие в делах, касавшихся общей пользы, и такое участие, что правительственное лицо, хотевшее держаться на своем месте и действовать с успехом, должно было непременно посылать свои доклады обер-камергеру. Вот что рассказывает об этом участии князь Яков Шаховской, племянник известного нам князя Алексея Шаховского, управлявшего Малороссиєю и столкнувшегося, как мы видели, с Минихом. Незадолго до смерти своей старый князь был в Петербурге и оттуда, отправляясь в Малороссию, заехал в Москву для излечения глазной болезни. В это время Миних уведомил Бирона, что козацкое войско, отправленное Шаховским в поход, явилось в неисправном виде. Следствием этого была сцена, которую пусть опишет сам князь Яков. "В один тогда день герцог Бирон вышел в аудиенц-камеру, где уже много знатнейших придворных и прочих господ находилось, и, подошед ко мне, спрашивал: есть ли дяде моему от болезни легче и скоро ли он в Малороссию к своей должности из Москвы поедет? Я, как и о сем, имел от дяди моего комиссию, чтоб в пристойном случае еще на несколько недель для лечения своего глаза в Москве ему пробывать, выпросить дозволения и объяснительно уверить, что и в отсутствие его порученные ему в Малороссии дела с таким же успехом, как и при нем, происходить будут, представил о том его светлости, но он, от фельдмаршала Миниха будучи иначе к повреждению дяди моего уведомлен, несколько суровым видом и вспылчивыми речами на мою просьбу отвечал, что он уже знает, что желание моего дяди пробывать

еще в Москве для того только, чтоб по нынешним обстоятельствам весьма нужные и время не терпящие к военным подвигам, а особливо там, дела, ныне неисправно исполняемые, свалить на ответы других: вот-де и теперь малороссийское козацкое войско, к армии в Крым идти готовящееся, больше похоже на маркитантов, чем на военных людей. Я, следуя моим правилам, чтобы во всяких случаях справедливость предпочитать всему, робким быть за стыд почитая, на те его светлости речи, не запнувшись, с твердым духом отвечал, что то донесено несправедливо. На сии мои слова герцог Бирон, осердясь, весьма вспыльчиво мне сказал, что как я так отважно говорю? Ибо-де о сем в тех же числах фельдмаршал граф Миних государыне представлял, и можно ль-де кому подумать, чтоб он то представил ее в-стwu ложно. Я ему на то ответствовал, что, может быть, фельдмаршал граф Миних оного войска сам еще не видал, а кто ни есть из подчиненных, дяде моему недоброжелателей, то худо ему рекомендовал; для лучшего же о истине удостоверения счастлив был бы мой дядя, когда б против такого уведомления приказано было кому-нибудь, нарочно посланному, оное козацкое войско освидетельствовать и сыскать, с которой стороны и кем те несправедливые представления монархине учинены? Ибо, когда персональные кредиты, а не существенные доказательства дел в удостоверениях преимущественно брать будут, тогда наисправедливейшие и радетельнейшие, от ухищрений коварных завистников безопасными быть надежду потеряв, лишатся своей крепости и негодными ко услугам монархине и отечеству сделаются. Такая моя смелость наивящше рассердила его, и он в великой запальчивости мне сказал: *"Вы, русские, часто так смело в самых винах себя защищать дерзаете"*. Сии его сиятельства речи не столько в робкое, как огорчительное смятение меня привели, на что я скоро ему с печально чувствительным видом ответствовал: сие будет высочайшая милость, и вскоре всеобщее благосостояние умножится, когда коварность обманщиков истребляема, а добродетельных невинность от притеснения защищаема будет, и, когда дядя мой и я в каких несправедливых ее в-стwu представлениях найдемся, помилования просить не будем. В таких я колких и дерзких с его светлостью разговорах находясь, увидел, что все бывшие в той палате господа один по одному ретировались вон и оставили меня в комнате одного с его светлостью, который ходил по палате, а я, во унылости пред ним стоя, с перерывкою продолжал об оной материи речи близ получаса, которых подробно всех теперь писать не упомяну, но последнее то было, что я увидел в боковых дверях за занавешенным не весьма плотно сукном стоящую и те наши разговоры слушающую ее и. в-стwu, которая, потом открыв скоро сукно, изволила позвать к себе герцога, а я с сей высокопочтенной акции с худым выигрышем с поспешением домой ретировался".

"Худого выигрыша" не было для Шаховских, потому что, во-первых, старик князь Алексей умел показать свою преданность Бирону тем, что обо всем посылал ему доклады, а во-вторых, потому, что Бирон не любил Миниха. Мы уже видели, что так называемая немецкая партия,

господствовавшая при Анне, в самом начале не представляла крепкой связи между своими членами, почему и не может быть называема собственно партией. Два самых видных иностранца по талантам и деятельности, фельдмаршал Миних и вице-канцлер Остерман, не умели поделиться и столкнулись в соперничестве; обоих не терпел могущественный фаворит, который хотел правительствовать без способностей и знания дел, и видел, что в Остермане и Минихе он вовсе не имеет покорных орудий, что оба они работают для себя и только по наружности сохраняют к нему вынужденное уважение. Тесно связаны были Остерман и Левенвольды, и смерть обер-шталмейстера Левенвольда, случившаяся в 1735 году, не могла не быть чувствительна для этого кружка, потому что покойный, как говорили, пользовался одинаким фавором, как и Бирон. Обер-камергер освободился от соперника, Миних освободился от врага, Остерман лишился друга. Но Остерман был силен сам по себе; мнение о его необходимости в делах внутренних и особенно внешних утвердилось; императрица в затруднительных обстоятельствах прибегала *коракулу*, как величали Остермана. Относительно Миниха интересы Бирона и Остермана были соединены; оба боялись его честолюбия, оба считали выгодным пугать его честолюбием. В конце войны его подозревали в желании сделаться господарем Молдавии на том основании, что он хотел продолжения войны после заключения мира австрийцами. По окончании войны его не оставили в Малороссии, передали ее управление генералу Кейту, хотя Миних желал этого места; рассказывали, что Миних просил себе управление Малороссиею с титулом князя украинского, и будто императрица сказала по этому случаю: "Миних очень скромн; я всегда думала, что он будет просить у меня титула великого князя московского". Миниха пожаловали подполковником Преображенского полка, и в начале 1740 года он явился в Петербург с свежою славою Ставучан и Хотина, с досадою от обманутых надежд, с жаждою новых надежд, готовым орудием для движения, предметом беспокойства для сильных, не хотевших делиться своею силою.

Миних был страшен Бирону как фельдмаршал, как военная знаменитость. Его нельзя было перевешивать Леси, человеком честным, скромным, но имевшим репутацию недаровитого полководца. У Бирона были в войске братья; был свояк, генерал Бисмарк, родом из Пруссии, но в прусской службе ему не посчастливилось: он долго содержался в строгом заключении, и потом ему не давали полка за то, что убил своего слугу; он перешел в русскую службу, женился на сестре жены Бирона и сделался генерал-лейтенантом, но твердое знание прусского военного артикула, который он вводил и в русское войско, не равняло Бисмарка с Минихом. Миних был страшен тем, что его некуда было удалить. Другое дело - барон Корф, который, как говорили, вздумал перейти дорогу обер-камергеру; ему дали сначала невлиятельное место президента Академии Наук, а потом отправили посланником в Данию. В оттеснении Корфа Бирону помогло то обстоятельство, что набожная императрица не могла сблизиться с вольнодумцем Корфом.

Но и Миних был долго в отсутствии из Петербурга, был на войне, хотя война только увеличила его значение. А Остерман был постоянно тут и всем заправлял. Что более всего раздражало Бирона и других, входивших в близкие отношения к Остерману, так это его хитрость и скрытность: никто не знал, что он думает, чего желает в известном случае, куда ведет дело, как относится к тому или другому делу, к тому или другому человеку; захочет кто-нибудь узнать об этом - оракул отвечает темно, двусмысленно, надобно ломать себе голову, чтоб проникнуть смысл оракула, а это страшно раздражало, особенно раздражало Бирона, который все более и более привыкал к раболепству. Отсюда естественное желание отделаться от Остермана, найти человека, который бы мог заменить Остермана и в то же время был бы покорным орудием фаворита, будучи обязан ему всем. Между иностранцами такого найти было нельзя; если бы даже и можно было сейчас же сыскать иностранца даровитого, то ему нужно было долговременное приготовление, чтобы хотя сколько-нибудь сравняться с Остерманом в опытности по делам внешним и внутренним. Надобно было обратиться к русским, к рассеянным птенцам Петровым, детям преобразования. Прежде всего внимание обратилось на Ягужинского, в котором хотя и нельзя было надеяться иметь вполне покорное орудие, особенно во время *шумства*, но возвращение из изгнания (ибо такое значение имело удаление его в Берлин), высокая честь быть кабинет-министром ручались за благодарность, а главное, Остерману выставлялся опасный соперник, в одну берлогу помещалось два медведя, и граф Андрей Иванович станет непременно тише, будет искать в фаворите поддержки против Ягужинского, а тот будет искать поддержки против Остермана, притом же загородится рот тем людям, которые кричат, что немцы управляют Россиею: в Кабинете будет два русских министра против одного немца. 28 апреля 1735 года Павел Иванович Ягужинский, вызванный из Берлина, был сделан кабинет-министром, получив также должность обершталмейстера, упразднившуюся смертью Левенвольда.

Но Ягужинский скоро умер (в апреле 1736 года), и надобно было искать ему преемника. Выбор остановился на Артемии Петровиче Волынском.

Мы видели, в каком неприятном, унижительноом положении находился Волынский в начале царствования Анны, но родство с Салтыковыми и заступничество Бирона, покровителя Салтыковых, поддержали его. Мы упоминали о нем как председателе комиссии, составленной в Москве для устройства конских заводов. Ревностию здесь он мог всего скорее угодить фавориту, страстному охотнику и знатоку в лошадях. Австрийский посланник граф Остейн, ненавидевший Бирона, говаривал, что когда фаворит говорил о лошадях или с лошадьми, то он говорил как человек, а когда говорил о людях или с людьми, то говорил как лошадь. Но мы видели, что польская война отвлекла Волынского от конюшенных дел и вызвала его в действующую армию. Об отношениях его к Бирону в это время можно судить по письму его от 20 апреля 1734 года: "Приемлю смелость о моем несчастьи доносить, как я с начала вступления в Польшу

и чрез все прошедшее время с каким усердием служил и трудился, не отрицаясь ни от чего; так о том его графское сиятельство г. обер-шталмейстер фон Левенвольд и прочие все могут засвидетельствовать, какие я имел беспокойства, однакож все то исполнял истинно со всякою охотою моею, и, наконец, по особливому несчастью моему приключилась мне злая животная болезнь, и так был несколько в великой опасности к смерти, и хотя потом некоторую свободу и получил, однакож не только верхом на лошади стало невозможно ездить, но и пешком ходить зело трудно, и затем от генерал-фельдмаршала Миниха отпущен в С. - Петербург и прибыл сюда в Кенигсберг, где, взяв доктора, пользуясь, и побыв здесь некоторое время для пользования моего, а потом паки буду продолжать до Петербурга по возможности путь мой, и, сие несчастье мое донесши, всепокорно предаю себя в непременную вашего высокографского сиятельства милостивого государя моего и истинного патрона милость".

Конечно, по старанию истинного патрона Волынский был сделан обер-егермейстером, полным генералом и был назначен одним из уполномоченных на Немировский конгресс. Мы видели, что и здесь болезнь помешала ему приехать вместе с другими товарищами. Перед отъездом из Немирова он написал своим детям следующее письмо: "Любезные мои дети: Антушка, Еленушка, Машичка, Петрушенка, здравствуйте и буди на вас милость и благословение божие. О себе объявляю вам, что мы сей день отъезжаем отсюда до Киева, куда, надеюсь, в семь дней прибудем и там от ее и. в-ства указа ожидать о возвращении нашем будем, токмо, чаю, оной к нам уже и послан. Дай всевышний мне вас скорее и в добром здоровье видеть и обще с вами его всещедрого благодарить, а я, слава богу, в совершенном моем здоровье, так что, прощаясь на разъезде с здешними господами польскими, и они у меня, и я у них попили нарочито дни с четыре. Потому можете, любезные дети, уверены быть, что я, конечно, здоров, понеже больному нельзя пить, а я ж и здоровый, ведаете, что неохотник, однако ж за любовь их, что ко мне все особливо ласковы были, принужден был".

Назначение Волынского в число уполномоченных на Немировский конгресс было ступенью к высшему назначению. По смерти Ягужинского одно место кабинет-министра оставалось праздным, следовательно, Кабинет при незначительности Черкасского сосредоточивался в одном человеке - Остермане, чего не хотел Бирон. В Волынском он надеялся найти человека, по способностям и опытности могущего перевешивать Остермана и в то же время долженствовавшего быть покорным слугою фаворита, ибо всем был обязан ему и по своему прошедшему, и по множеству сильных врагов нуждался в постоянном его покровительстве. Бирон считал себя в праве говорить: "Волынский мне обязан тем, что он не был повешен еще тогда, когда двор был в Москве". Хотя в этих словах и было преувеличение, однако после известного нам казанского дела без сильного покровительства трудно было подняться так, как поднялся Волынский. Говорят, будто Ягужинский пророчествовал перед смертью:

"Я предвижу, что Волынский посредством лесты и интриг пробьется в кабинет-министры, но не пройдет и двух лет, как принуждены будут его повесить". Говорят о прошедшем человека, и на язык попадает слово - виселица; говорят о его будущем, и опять то же слово - значит, человек для избежания виселицы должен иметь сильное покровительство; и Бирон в расчете на невозможность для Волынского держаться самостоятельно вводит его в Кабинет, отвечая иностранцам, которые высказывали на этот счет свое удивление и беспокойство: "Я хорошо знаю, что говорят о Волынском и какие пороки он имеет, но где же между русскими найти лучшего и способнейшего человека?"

И вот Волынский у цели своих желаний: он кабинет-министр. Он участвует в решении важнейших дел, он ходит с докладами к государыне, имеет возможность говорить с нею, выставлять свои способности и усердие, накидывать тень на людей неприятных, принимать секретные поручения. У Волынского закружилась голова; властолюбие было страшно возбуждено, является стремление играть главную роль, затмить всех, но тут препятствия, которые доводят раздражение до крайности, враги дразнят со всех сторон. Главный враг, способный дразнить, раздражать страшно человека, подобного Волынскому, - это Остерман, оракул, у которого не добьешься ничего ясного, определенного, и Остерман имеет важные причины дразнить Волынского, подставлять ему ногу: Волынский введен в Кабинет для противодействия Остерману. И Волынскому при его горячке трудно бороться с Остерманом, спокойно обдумывающим, как бы уколоть врага и поставить его в неприятное положение. Волынский, начетчик и говорун, станет излагать мнение по какому-нибудь делу; другой кабинет-министр, князь Черкасский, не начетчик и не говорун, не имеющий своих мнений, увлекся, пристаёт к мнению Волынского, но бесстрастный граф Андрей Иванович спокойно произносит свое veto, свое "не так". И это постоянно: Волынский выходит из себя, Волынский, считающий себя и считаемый от многих других умницею; он постоянно рассуждает не так, один Остерман непогрешителен! Но этого мало: Остерман согласится, но с докладом к государыне сам не пойдет; Волынский отправится и получит гнев государыни за неудобное ей решение, а Остерман в стороне; он с докладом не ходит, а ходит, так и наговаривает государыне на других, возбуждает ее подозрение; он в кредите, его слушают, а Волынский в работе и неприятностях. С другим товарищем своим по Кабинету, князем Алекс. Мих. Черкасским, Волынский был сначала в больших ладах. Черкасский был недоволен Остерманом, Бироном, Анною; ему казалось, что за такие важные услуги он был мало награжден; он досадовал, что ему не дано главной роли: что бы он, по своим способностям, сделал с своею главною ролью, он об этом не рассуждал, только неприятно было, что другие пользуются большим влиянием на дела, чем он; вероятно, он не слышал, что насмешники говорили, когда их было только двое в Кабинете с Остерманом; насмешники говорили, что Остерман - душа Кабинета, а князь Черкасский - тело. Притом, несмотря на огромное богатство. Черкасский был корыстолюбив и сердился, что мало получал

материального вознаграждения за свое усердие; наконец, самая благовидная причина неудовольствия была ссылка его племянника князя Александра по делу очень сомнительного свойства. И вот князь Алексей Михайлович отводит душу жалобами в беседах с новым товарищем. Черкасский жаловался, что Остерман так силен, что ни он, Черкасский, ни страшный начальник Тайной канцелярии Ушаков не смеют против него говорить. "Остерману, - говорил Черкасский, - противно, что Сенат есть, хотелось бы ему, чтоб Сената не было, а съезжались бы коллежские президенты для совещания; Остерман боится, что Сенат усилится, если в нем много будет членов". Черкасский жаловался и на Бирона, называл его злым человеком за то, что племянника его князя Александра напрасно в ссылку послал; стращали его пытками, и он на себя много напрасно говорил, а доноситель научаем и обнадежен был Алексеем Бестужевым. Черкасский жаловался на государыню: "Государыня мне говорила: бог тебя не оставит, также и я, пока буду жива, тебя не оставлю, а какую я от нее милость вижу? Вот безделица: пожаловали было нам троим китайские товары - Головкину, Остерману и мне; когда Головкин умер, тогда изволила сказать: вот вам и его часть отдаю, а после того из тех товаров лучшие выбрала себе на 30000 рублей, а остальные велела разделить на несколько частей, а теперь не подарила мне доимки на крестьянах моих, велела взыскивать. Выйду в отставку".

Такие откровенности были вначале, а потом Черкасский удалился от Волынского, увидавши, что может быть опасно сближение с человеком, на которого косятся сверху, косится не только Остерман, но и Бирон.

За что же истинный патрон стал коситься на своего клиента? За то, что клиент, ставши кабинет-министром, перестал быть человеком ищущим. Волынский был человек живой, деятельный; новая должность заняла его, а если кабинет-министр хотел и любил заниматься, то какой предмет мог быть чужд его внимания, когда все дела сосредоточивались в Кабинете и разделения занятий между его членами не было? Кроме того, Волынский любил почитать, пописать и поговорить с читавшими людьми, и потому он не мог найти много времени для того, чтоб постоянно быть в приемной герцога курляндского. Это отсутствие, разумеется, было замечено. Что же это значит? Уже начал пренебрегать, хочет жить сам по себе, не нуждается более? Неблагодарный! Да куда он девался? Что он делает? "У него дела много, ваша высокогерцогская светлость, - говорят добрые люди, - все проекты пишет, все, по его, не так, всех бранит". А его высокогерцогская светлость приобрел к этому времени окончательно дурную привычку - не церемониться ни с кем, обходиться со всеми как с лакеями: застанет кто герцога в хорошую минуту, примет хорошо, ласково; застанет в невеселом расположении духа - примет как нельзя хуже. Волынский прежде, когда искал в Бироне, мог переносить это, вероятно даже и не очень замечал: мысли были не тем заняты, но теперь, когда искание прекратилось, цель была достигнута, Волынский стал внимательнее к такому обхождению, обидчивее, ведь он кабинет-министр! Отсюда сильное раздражение и

первая мысль: немец, какого происхождения, чем добился до такого положения и смеет так обходиться с лучшими русскими людьми! Посещать Бирона стало неприятно Волынскому, а человеку естественно избегать неприятного: кто его знает, как примет, что за охота терпеть унижение? И вот Волынский еще реже является к Бирону и жалуется, что Бирон перед прежним гораздо запальчивее стал и при кабинетных докладах государыне горцог больше других на него гневался; потрафить на его нрав невозможно, временем показывает себя милостивым, а иногда и очами не смотрит. Черкасский вторит ему, что Бирона нрав переменялся и безмерно стал запальчив и не любит, кто с кем дружно живет; ныне опасно жить, что безмерно на всех напрасная суспиция, а ту суспицию внушил паче всех граф Остерман, его вымысел в том состоит, чтоб на всех подозрение привести, а самому только быть в кредите. Немцы - Бирон и Остерман - виновники всему злу, они перебивали дорогу Волынскому, и Волынский жаловался: "Ныне пришло наше житье хуже собаки!" - жаловался с горя, что иноземцы перед ним преимущество имеют. Бирон видит, что Волынский уже не тот, к нему является редко, но с государынею старается быть как можно чаще и говорит с нею как можно долее. Этого Бирон выносить не мог и при первом случае высказал свое негодование Волынскому; когда было получено донесение Миниха о недостатке провианта, тогда как его было много на Днепре, то Волынский пошел к Бирону с представлением о несправедливом требовании фельдмаршала, думал, вероятно, получить хороший прием вследствие вражды между Бироном и Минихом, но получил прием очень нехороший. "Напрасно ты ко мне с этим пришел, - закричал на него герцог, мне какое дело! Поди сам докладывай государыне, ты можешь и по часу говорить с государыней".

Но подозрительность и досада Бирона усилились по самому неприятному для него делу, от которого зависело его будущее. Совершилось событие, напоминавшее волшебные сказки: сын курляндского конюха сделался герцогом курляндским. Но владетельный и наследственный герцог курляндский был обер-камергером русской императрицы и, сделавшись герцогом, остался при петербургском дворе. Это показывало ясно, что все значение его основывалось на отношениях к этому двору, к России, следовательно, для сохранения своего значения Бирону нужно было утвердить свое высокое положение в России. Это положение зависело от фавора императрицы, но что будет по смерти ее? Закон Петра Великого, что царствующий государь имеет право назначить себе преемника, существовал во всей силе; если Анна была избрана, то потому, что Петр II не распорядился назначением себе преемника. Анна хотела утвердить на русском престоле свою линию, а единственною отраслью этой линии была мекленбургская принцесса Анна Леопольдовна, дочь герцогини Екатерины Ивановны. Кто будет мужем принцессы Анны - этот вопрос занимал очень многих и сильно занимал Бирона. Естественно было человеку в его положении схватиться за мысль об утверждении своего положения в России посредством брака сына своего на принцессе Анне. Бирон тем более мог питать такие надежды, что принцесса чувствовала отвращение к

назначенному ей в женихи принцу Антону брауншвейг-беве́рнскому; со стороны императрицы Бирон не мог ожидать препятствий; было одно препятствие - молодому Петру Бирону было только 16 лет, но при высших соображениях такие препятствия исчезают. Оставалось приобрести расположение молодой принцессы, чтоб ее склонностью прикрыть все, и вот Бироны начинают сильно ухаживать за нею. Наконец пришло время покончить дело. Сам Бирон взялся предложить принцессе в женихи принца Антона в полной уверенности, что предложение будет отвергнуто, и действительно, принцесса отвечала, что она скорее положит голову на плаху, чем выйдет за принца Антона. Бирон в восторге решился пользоваться благоприятною минутою: дочь генерала Ушакова, бывшая за камергером Чернышевым и пользовавшаяся приближением у принцессы, должна была предложить Анне Петра Бирона, но принцесса страшно оскорбилась этим предложением и под влиянием этого чувства объявила, что переменила прежнее намерение и готова выйти за принца Антона. Императрица очень обрадовалась этому решению, и Бирону ничего более не оставалось, как притворяться также обрадованным. Но как относились к этому делу русские люди? Волынский узнал о намерении Бирона женить сына на принцессе Анне от медика цесаревны Елисаветы Лестока; Лесток рассказывал, что слышал от самой цесаревны, что императрица представила племяннице на выбор обоих женихов, молодого Бирона и принца Антона; принцесса отвергла Петра Бирона и сказала: "Когда на то воля вашего величества, то лучше пойду за принца брауншвейгского, потому что он в совершенных летах и старого дома". Волынский, рассказывая об этом своим друзьям, называл намерение Бирона годуновским намерением. Князь Черкасский говорил: "Если б принц Петр был женат на принцессе, то б тогда герцог еще не так прибрал нас в руки. Как это супружество не сделалось? Потому что государыня к герцогу и к принцу Петру милостива, да и принцесса к принцу Петру благосклоннее казалась, нежели к принцу брауншвейгскому; конечно, до этого Остерман не допустил и отсоветовал: он, как дальновидный человек и хитрый, может быть, думал, что нам это противно будет, или и ему самому не хотелось. Слава богу, что это не сделалось: принц Петр человек горячий, сердитый и нравный, еще запальчивее, чем родитель его, а принц брауншвейгский хотя невысокого ума, однако человек легкосердный и милостивый". Волынский также выставлял вредные следствия брака принцессы Анны с сыном Бирона: опасная Русскому государству власть Бирона еще более усилится, иноземцы окончательно станут владычествовать над русскими, станут русских отягощать податями, вывозить казну, истощать государство и этим подвергнут его страшной опасности в случае неприятельского нападения.

Что дело не ограничилось только сожалениями и опасениями, которые высказывали друг другу близкие между собою люди, видно из наивных слов принцессы Анны, сказанных Волынскому после невольной помолвки ее за нелюбимого принца Антона. Увидавши ее грустною, Волынский спросил о причине печали и получил в ответ: "Вы, министры проклятые, на это привели, что теперь за того иду, за кого прежде не думала, а все вы для

своих интересов к тому привели". Волынский сказал на это, что ни он, ни князь Черкасский ни в чем не виноваты, потому что ни о чем не знали; потом спросил, чем же она недовольна? Принцесса отвечала, что жених очень тих и не смел в поступках своих; Волынский сказал на это, что она может недостатки принца восполнять своим благоразумием, что если принц Антон тих и не смел, то ей же лучше, потому что будет ей больше послушен, а если б ее мужем был Петр Бирон, то хуже бы ей было. После свадьбы Волынский наставлял принцессу, что надобно ей друзей приобретать; учил, как она должна поступать с мужем; относительно Бирона говорил ей, что у него нрав подозрительный и вспыльчивый: пусть будет осторожна и ласкова к фамилии Биронов. Герцог курляндский, страшно раздраженный против принцессы Анны за отказ выйти замуж за его сына, бранил ее Волынскому, говорил, что она *уничтожительно* и неприятно себя к людям показывает. На это Волынский отвечал, что принцесса робка пред государынею и напрасно так робко себя ведет и дикой к людям себя показывает; напрасно также вверилась фрейлине Менгден, потому что фрейлина не очень дальнего ума, а принцесса имеет нрав тяжелый. Несмотря на такой не очень лестный отзыв, подозрительный Бирон не мог не заметить, что старый его клиент сильно забегает к молодому двору и пользуется его расположением; это, разумеется, стало самую сильную причину нерасположения герцога к Волынскому. У последнего был приятель из немцев кабинет-секретарь Эйхлер, которого привязывала к Волынскому ненависть к Остерману; Эйхлер, родившийся в России, был в большом приближении у фаворита Петра II князя Ив. Алекс. Долгорукого, и за ним ухаживали как за министром. После падения Долгорукого Эйхлера затерли, но Ягужинский снова вывел его, а по смерти Ягужинского Бирон сделал его тайным секретарем императрицы. Эйхлер, который вовсе не желал ссоры между Бироном и Волынским, ибо эта ссора могла быть очень выгодна Остерману, остерегал Волынского, чтоб тот не возбуждал подозрений герцога сближением с принцессою Анною. Однажды заклятый враг Волынского князь Алекс. Борисович Куракин бранил его громко во дворце. Когда потом приехал во дворец и Волынский, то подошли к нему принцесса Анна и цесаревна Елисавета и спрашивали, за что его Куракин бранит. Волынский отвечал, что сам не знает, и "их высочества изволили милостиво о нем сожалеть". Эйхлер, бывший свидетелем этих сожалений, говорил после Волынскому: "Я тебя по-дружески предостерегаю: не очень ты к принцессе близко себя веди, можешь ты за то с другой стороны в суспицию впасть: ведь герцогов нрав ты знаешь, каково ему покажется, что мимо его другою дорогою ищешь". Это было летом 1739 года до отъезда двора в Петергоф, но потом и в Петергофе Эйхлер предостерегал Волынского, чтоб он к принцессе не ходил часто. "Мне кажется, - говорил он, - что и так на тебя от герцога курляндского за то суспиция".

Остерман враждебен, Бирон враждебен, князь Куракин громко бранит в самом дворце - значит, не опасается гнева императрицы. Бирон преследует Волынского за то, что тот по целому часу разговаривает с императрицею,

но Волынский видит, что эти продолжительные разговоры ни к чему не ведут, и сильно недоволен Анною. "Правду пишут о женском поле, что нрав изменчивый имеет, и, когда женщина веселое лицо показывает, тут-то и бойся скрытого в сердце ее гнева", - рассуждал Волынский при любимом человеке своем Кубанце, от которого у него не было тайн. Рассуждая таким образом, он разумел Анну, которая в каком-нибудь деле сначала покажет персону милостивую, а потом за то же дело гневается. "Вот гневается, иногда и сам не знаю за что; надобно ей суд с грозой и милостью иметь, а того беда - иногда так, а иногда сяк, и ничего постоянного нет, и в самых государях то худо, ежели скрытность бывает". Однажды, выразившись очень резко об умственных способностях Анны, Волынский прибавил: "Резолюции никакой от нее не добьешься, герцог что захочет, то и делает". Секретарь Анны Эйхлер жаловался на пребезмерную подозрительность ее, что "во всех без причины сомневается; как бы кто верен ни был, без подозрения миновать не может, и бог знает как угодить стало".

Эти слова не могли утешить Волынского. Надежда при частых непосредственных сношениях с императрицею выказать свое усердие и затмить всех своими способностями исчезла. Особенно сердился он на императрицу за головинское дело: Анна поручила ему под рукою разузнать о поступках адмирала Николая Головина, президента Адмиралтейской коллегии; Волынский донес, что Головин взял с одного иностранца 7000 рублей, но донос остался без всякого действия, и Головин, узнавши об нем, сделался смертельным врагом Волынского. Для достижения своих честолюбивых целей Волынский стремился приобрести полное доверие императрицы, но оказывалось, что никакого доверия не было, Анна выдавала его. И российский императорский кабинет-министр с завистью говорит о независимом положении польского пана: "Вот как польские сенаторы живут: ни на что не смотрят и все им даром; польскому шляхтичу не смеет и сам король ничего сделать, а у нас всего бойся".

К этим неприятностям присоединилась постоянная нужда в деньгах; доходов не доставало на петербургскую жизнь кабинет-министра, он принужден был занимать деньги. Волынский так объясняет причины расстроенного состояния своих дел: "Когда я был посажен в тюрьму в Турции (с Шереметевым и Шафировым), отец мой, имел меня, одного сына, опечалился и впал в параличную болезнь, отчего и язык отнялся у него. В то время мачеха моя, которая была весьма непотребного состояния, разорила дом весь, разогнала людей и деревни, так что мне по смерти отца моего от 800 дворов крестьян осталось 37. Свидетель 601, что со всех моих деревень 500 рублей доходу ныне не имею, и редкий год, чтоб я и Москве и в деревнях на 300 или 400 рублей хлеба не купил. Во весь мой век ни едино благополучие мне не воспоследовало, кроме одних убытков, и что больше себе чести получал, тем больше долгов присовокупил: чем больше прилагаю трудов, тем больше ненависти и злобы вместо всякой помощи нажил".

Но человек с такою энергиею, как Волынский, не мог предаваться бездейственному отчаянию: он писал проекты и читал их в небольшом кругу образованных и преданных ему людей. Этот кружок состоял из известного нам графа Платона Мусина-Пушкина, президента Коммерц-коллегии, Федора Соймонова, обер-штер-кригс-комиссара, Андрея Хрущова, советника, и Петра Еропника, архитектора. Эти люди своими похвалами возбуждали в Волынском блестящие надежды: ему уже мечталось, какое могущественное впечатление произведут его труды, как все должны будут преклониться пред его дарованиями, как прославится его имя. Главное место между его трудами занимало "Генеральное рассуждение о поправлении внутренних государственных дел", разделенное на шесть частей: 1) об укреплении границ и об армии, 2) о церковных чинах, 3) о шляхетстве, 4) о купечестве, 5) о правосудии и 6) об экономии. Приведем из него несколько мыслей: "Мы, министры, хотим всю верность на себя принять и будто мы одни дела делаем и верно служим. Напрасно нам о себе так много думать: есть много верных рабов, а мы только что пишем и в конфиденции приводим, тем ревность и других пресекаем, и наташили мы на себя много дел и не надлежащих нам, а что делать - и сами не знаем". Переходя к Сенату, Волынский требовал уничтожения генерал-прокурора, как препятствующего свободной деятельности сенаторов; требовал увеличения числа сенаторов, которые должны ежегодно обзирать все губернии для усмотрения тамошних не порядков. Относительно армии требовал поселения ее на границах в слободах. Тр ебовал распространения просвещения между духовенством и шляхетством: для духовенства учредить академии, а знатное шляхетство посылать за границу учиться разным наукам и правам, чтоб у нас были свои природные министры. Учредить по приходам сбор для содержания священников, чтоб им не нужно было заниматься хлебопашеством. Ввести шляхетство в духовный и приказный чин, потому что до сих пор в канцеляриях все люди подлые. Купечество защищать от воеводских обид; восстановить магистрат и т. д.

Хрущов говорил о "Генеральном рассуждении", что "эта книга будет лучше Телемаковой". Но Волынский не ограничился "Генеральным рассуждением" и другими подобными же проектами: у него слишком накопело на сердце, и он решился написать императрице представление о недостоинстве окружающих ее людей, выставляя преимущественно Остермана, и о печальном состоянии людей достойных, разумея себя. Прежде чем подать записку императрице, автор показал ее некоторым лицам, все неприязненным Остерману: князю Черкасскому, Эйхлеру, Лестоку, генерал-берг-директору Шенбергу, президенту Юстиц-коллегии по лифляндским и эстляндским делам барону Менгдену, родственнику Миниха. Князь Черкасский сказал: "Остро очень писано: ежели попадетс я то письмо в руки Остермановы, то он тотчас узнает, что против него писано". Шенберг, Эйхлер, Менгден уговаривали Волынского подать письмо государыне. "Это письмо - самый портрет графа Остермана", - говорили они. Не советовал подавать Кубанец, но Волынский, увлеченный

похвалами сочинению и ненавистию к Остерману, подал, вручивши прежде немецкий перевод письма Бирону в надежде, что герцог, узнавши портрет Остермана, будет доволен. Нам неизвестно, какое впечатление произвело письмо на Бирона, но на императрицу самое дурное: Волынский забыл, что, выставляя в черном свете людей, окружавших императрицу, он оскорблял ее самолюбие, ибо к ней прямо относился упрек за дурной выбор приближенных. Анна спросила его, кого именно он описывал в своем сочинении. Волынский отвечал, что Куракина, Головина, а больше всего Остермана. "Ты подаешь мне письмо с советами, как будто молодых лет государю", - сказала на это Анна, и слова ее обдали холодом несчастного автора.

Но если Волынский не достигал своей цели подачею записки, то эта подача непосредственно не имела для него и вредных последствий. На радостях заключения мира с Турцией Волынский получил 20000 рублей, как человек, особенно нуждающийся в деньгах. Мы видели, что он распоряжался празднествами по случаю свадьбы шута Голицына, и видели, как он воспользовался случаем, чтоб отомстить Третьяковскому за песенку. И этот поступок Волынского, позволившего себе прибить несчастного пииту в комнатах герцога курляндского, остался бы для него без вредных следствий, если бы он не имел неосторожности страшно оскорбить Бирона в деле о вознаграждениях полякам, потерпевшим во время прохода русских войск чрез области Речи Посполитой. Бирон, как герцог курляндский, вассал Польши, имел сильные побуждения заискивать расположение правительства республики, т. е. вельмож и шляхты, и потому он настаивал, что надобно дать полякам удовлетворение. При рассуждении об этом деле в Кабинете Волынский настаивал на противном и, разгорячившись, сказал с явным намеком на Бирона, что, не будучи ни владельцем в Польше, ни вассалом республики, не имеет побуждений удабривать истари враждебный России народ. Вероятно, Волынский думал, что в Кабинете он может делать безопасно какие угодно выходки против Бирона, потому что герцог не имел здесь доброжелательных себе людей. Но слова Волынского были переданы Бирону и привели его в страшную ярость, потому что задевали его за самое чувствительное место: Бирон без пользы для России кормился на ее счет, но по этому самому он хотел убедить сам себя и других заставить убедиться, что он приносит чрезвычайную пользу России, которая погибнет, если его высокогерцогская светлость перестанет оказывать милостивое внимание к ее делам; ничем, следовательно, нельзя было его больше уколоть, как мнением, что он своими частными отношениями приносит вред интересам России; особенно это должно было страшно раздражить его в описываемое время, в 1740 году, когда он занят был вопросом о своей будущности, о средствах утвердиться в России по смерти Анны, вопросом трудным вследствие неудавшихся планов относительно Анны Леопольдовны. И тут-то один из кабинет-министров провозглашает, что Бирон вреден России! Притом предстоит трудная борьба для достижения главной цели, от которой зависит все будущее; в таких обстоятельствах надобно

приобретать друзей и стереть с лица земли врага, который по своему значению и энергии может быть очень опасен. Да и почему Волынский вдруг стал так смел? Это не даром; надобно начать дело, и тогда, может быть, вскроются очень важные вещи. Но как начать дело? Нельзя придаться к словам, сказанным во время совещания кабинет-министров, да и кто из них будет доносчиком? Бирон вспомнил или ему указали на два основания, на которых можно было начать дело: на записку Волынского, поданную императрице, - это донос, донос важный, о злоупотреблениях лиц, приближенных к престолу; пусть доносчик укажет, кто эти лица, и докажет их преступления. Второе основание, по которому Бирон мог выступить с жалобой на Волынского, - это оскорбление, нанесенное последним герцогу: Волынский прибил Третьяковского в комнатах Бирона.

И герцог курляндский пишет просьбу императрице на Волынского. Он прежде всего выставляет на вид, что его вмешательство в русские дела было всегда чуждо пристрастных и партикулярных целей; он вмешивался в дела единственно для того, чтоб охранять интересы императрицы, ее спокойствие и дражайшее здравие. Но есть люди, которые стараются очернить самые беспорочные поступки: прошлым летом в Петергофе кабинет-министр Волынский подал некоторое письмо и в нем хотел привести в подозрение людей, которые при высочайшей персоне употребленными быть счастье имеют. Спокойствие императрицы требует, чтоб написанное темными и скрытными изображениями было изъяснено явственнее. Если же автор не может указать именно на лицо, то он виновен в страшно непристойном и продерзостном поступке: такие наставления годны только для малолетних государей, а не для такой великой, умной и мудрой императрицы, которой великие качества и добродетели весь свет с крайним удивлением превозносит. Наконец, Бирон жалуется на поступок Волынского с Третьяковским и утверждает, что если Волынскому простится такой поступок, то это будет первый пример безнаказанного оскорбления, нанесенного владельческому герцогу приватною особою, что навлечет ему, Бирону, вечное бесчестье во всем свете, ибо при всех иностранных дворах уже известно, как Волынский распорядился в его покоях. Если Волынский других старается привести в подозрение пред императрицею, то справедливость требует, чтоб и его собственные дела и департаменты были рассмотрены и исследованы, тем более что в них великие денежные суммы употреблены, а ожидаемая польза, как сама императрица часто упоминать изволила, донныне невелика была: много проектов он насочинил, а в действие мало привелено.

Бирон требовал суда над Волынским в полной надежде, что его легко засудят. По той же самой причине Анна не хотела отдавать Волынского под суд: она знала, что он будет жертвою личной вражды и новая, видная жестокость падет на нее. Анна не соглашалась, но Бирон не уступал. "Или я, или он", - говорил герцог. Анна плакала; Бирон грозил выехать из России; Анна согласилась нарядить суд. Бирон торжествовал, и не он один:

торжествовал Остерман, который приготовился принять дело Волынского в свои руки, дать ему надлежащее направление. Бирон подставил Волынского против Остермана, а теперь сам Бирон губит Волынского, Остерман в стороне. Торжествовал и князь Куракин. Куракин, которому позволялось говорить то, что другим не позволялось, начал однажды в лицо хвалить императрицу за то, что она приводит в исполнение предначертания великого дяди; только одно еще не исполнено. "Что же такое?" - спросила Анна. "Петр I, - отвечал Куракин, - нашел Волынского на такой дурной дороге, что накинул ему на шею веревку; так как Волынский после того не исправился, то если, ваше величество, не затянете узел, намерение императора не исполнится".

С Бироном, Остерманом и Куракиным не могло быть примирения; Волынский попробовал, нельзя ли помириться с Минихом, с которым у него были также нелады. Сначала Миних, враждуя с Ягужинским, сблизился с врагом последнего - Волынским. Еще до переезда двора в Петербург Миних уговаривал Волынского рассказать все, что знает за Ягужинским, и Волынский исполнил его просьбу, рассказывая, и не одному ему, разные разносности про Ягужинского, вследствие чего и наряжено было следствие над последним. Но приязнь Миниха к Волынскому была непродолжительна; видя, что гораздо легче подняться посредством обер-шталмейстера Левенвольда, чем посредством Миниха, Волынский перепросился в команду первого, что озлобило Миниха по причине сильной вражды его с Левенвольдом. Волынский хвалился, что он свел в большую дружбу князя Черкасского с Левенвольдом, отчего Черкасскому был "великий барыш", ибо "Левольд", по выражению Волынского, каков бы ни был, а он столько крепок в милости ее величества, что никогда поколебим быть не может. Но крепкий человек скоро умер, и тогда Волынский обратился к другому крепкому человеку - Бирону. Теперь, когда этот крепкий человек стал готовить ему гибель, Волынский обратился снова к Миниху. 25 марта поехал он к нему с просьбою заступиться за него пред Бироном. Случившийся тут родственник Миниха барон Менгден изъявил опасение, что заступничество ни к чему не поведет, потому что "герцог безмерно гневен на Волынского и говорит, что более с ним вместе жить не хочет". Но, как видно, Миних говорил с Бироном в пользу Волынского, потому что герцог курляндский сильно рассердился. "Что это за союз между Минихом и Волынским, двумя заклятыми врагами!" - говорил он.

Сначала Волынскому запрещен был приезд ко двору; это было на страстной неделе. Но он продолжал еще ездить в Кабинет. Когда он сидел здесь, а приятель его Эйхлер проходил чрез кабинетную палату в секретную экспедицию и в манеж, то Волынский спрашивал его: проходит ли гнев государыни? Эйхлер отвечал: "Не сомневайся, пройдет, только потерпи и дай время, ибо ее величество на дело твое под рукою смотреть изволит". Волынский не знал, за что именно собралась на него беда, и обратился с вопросом об этом к одному из близких своих знакомых,

секретарю Иностранной коллегии де ла Суда. Тот отвечал: "Тебя называют проектистом, что ты умеешь проекты писать, а пущее-де то, какое ты подал государыне письмо в Петергофе, о том сильно толкуют и притом, что ты дерзновенно сделал, что секретаря Трелиаковского из палат его светлости взял".

12 апреля Волынскому был объявлен домовый арест. Составлена была комиссия из Григорья Чернышева, Андрея Ушакова, Александра Румянцева, князя Ивана Трубецкого, Михайлы Хрушова, князя Репнина, Василья Новосильцева, Ивана Неплюева, Петра Шипова. 15 апреля Волынский привезен был в комиссию, где ему прочли допросные пункты на основании записки, поданной им императрице. Волынский стал говорить: "Причину я имел, что были на меня доносители шталмейстеры, которых поджигал князь Александр Куракин, а граф Остерман во всех случаях говорил мне скрытно, и в одно время граф Остерман горное дело от себя отваливал, а принудил меня доложить горное дело ее величеству, и как я докладывал, и за то от ее величества гнев принял. Павел Ягужинский губил меня и говорил, что за голову мою не жаль дать 30000 червонных; к тому же нападки имел я от Долгоруких и Голицыных. Доношение и письмо подал я с горести и нетерпеливости своей". Тут члены комиссии прервали его замечанием, чтоб от разговоров удержался, а отвечал ясно на вопросные пункты. Вопросные пункты состояли в следующем: "Понеже вы ее имп. в-ству будто в наставление и научение подали некоторое письмо о разных при дворах происходящих бессовестных поступках, а всякого верного раба присяжная должность есть, если он что противное интересам государя своего усмотрит, то государю своему прямо донести с именованьем персон и с подлинным их бессовестных поступков доказательством, а не темными и самодержавной своей государыни непристойными, в генеральных и сумнительных изображениях составленными письмами, худых и добрых, совестных и бессовестных людей у ее величества в подозрение привести старался. Того ради ее и. в-ство указала вам ответствовать: 1) кого в службе ее в-ства знаете, которые на совестных людей вымышленно затевают, вредят и всячески их добрые дела помрачают и опровергают, дабы тем кураж и охоту к службе у всех отнять? Волынский отвечал: в поданном письме своем он таких именовал: графа Павла Ягужинского, князей Долгоруких и Голицыных, князя Александра Куракина, адмирала графа Николая Головина, ибо все они так его, Волынского, вредили и помрачали, что публично бранивали, но только о вышеозначенном о всем написано было им от горести и от горячности об одной своей только персоне, а чтоб они кроме его других совестных людей вредили - за ними и за другими он не знает и в том, что так дерзновенно поступал, признает себя виновным и просит ее в-ства прощения".

Второй пункт: "Кого вы знаете, кои приводят ее в-ство в сумнение, чтоб никому верить не изволила и все подозрением огорчены были и казались быть всякой милости недостойными?" Ответ: "Написал в таком намерении, что граф Остерман имеет себя весьма скрытно, и только чтоб он был в

стороне, а другой бы мог ответственность, а написал он это от горести своей, которую разумел о прежних на него нападениях и о скрытных графа Остермана поступках; граф Остерман во всех делах скрытно с ним поступал, хотя он, Волынский, много перед ним плакивал, однако он ничего того не отменил".

Третий пункт: "Кого знаете, кои ее в-ству опасности представляют иногда и о таких делах, которые за самые бездельные почитать можно, однако ж оные наиболее расширяют, всякие из того приключения толкуют, а ничего прямо не изъясняют, но все скрытными и темными терминами выговаривают и притом персону свою печальными и ужасными минами показывают?" Ответ: "Разумел Остермана; слышал он об этом от покойного обер-шталмейстера Левенвольда и князя Алексея Черкасского, а сам он, Волынский, того не знает и ничего за Остерманом подлинно не присмотрел, ибо с присутствия его в Кабинете Остерман ни с каким докладом пред ее в-ством не бывал, а видел его, графа Остермана, в таковых минах токмо между собою при конференциях о кабинетных делах".

Четвертый пункт: "Кого знаете, кои к поправлению или к успокоению себя самого рекомендуют и что будто бы уже в том никому иному поверить невозможно или по крайней мере такие мудрости и затруднения в том деле показывают, что иной никто того исправить не может?" Ответ: "Знает он это за одним Остерманом; заметил он, что хотя б что он, Волынский, надлежащее и сделал, но все не годится; только одно то хорошо, что Остерман делает". Пятый пункт: "Кто обманщики, кои стараются себя наиболее в кредит привести и показать, яко бы особливую верность и усердие, хотя ничего того нет?" Ответ: "Написал об одном Остермане, а по каким именно делам таким образом Остерман поступал, он, Волынский, не упомянул".

Шестой пункт: "В какой силе вы то написали, что государь, каков он премудрый ни был, принужден во всех делах держаться того политика советов, рассуждаючи так: да кому же мне поверить стало, когда ни в ком другом верности и доверия нет, или кому мне приказать то дело, что никто так хорошо сделать не умеет, как только такой человек, и уже покажется так, что и во всех делах без его трудов или без его советов обойтись никаким образом невозможно. Такие продерзостные рассуждения государыне и ее известной высочайшей премудрости, достоинству и самовластью весьма неприличны и немало оскорбительны". Ответ: "Написал об Остермане по примеру тому, что Петр Толстой во многих делах Петра Великого обманывал".

Седьмой пункт: "Кто именно, которые таким образом бескредитны учинены, чтоб не имели к предвосприятию надежды и не смели по совести говорить?" Ответ: "Написал в такой силе, что не смел он, Волынский, по

хитрым Остермана поступкам против него говорить и ее в-ству по совести доносить".

Осьмой пункт: "Кто уповает, что как бы худо и вредительно делано ни было, будет безгласно, ибо никто уже не отважится ни в чем предостерегать?" Ответ: "Написал об Остермане".

Девятый пункт: "Про кого вы написали, что как бы кто праводушен и ревностен ни был, потеряет свой кураж, охоту и ревность к службе, понеже необходимо принужден себя предостерегать и сколько возможно убегать от таких дел, кои хотя малейшим опасностям подлежат, дабы из того в какую напрасную суспицию не впасть или в бесполезную с кем ссору и злобу не войти и себя в жертву не предать?" В ответе указано на известный случай с графом Головиным.

Десятый пункт: "Кто желают молчанием пользоваться и спокойно жить, думая, что не наше, нечего жалеть, что разоряется и пропадает - не мое и было!" Ответ: "По поводу головинского дела говорил он, Волынский, князю Василью Урусову, для чего он, видя в Адмиралтействе беспорядки и противные поступки, не доносил и о том молчал, и на то Урусов говорил, как ему в том было подняться, что он человек одинокий и доносить смелости не имел, понеже состоит в команде графа Головина".

Одиннадцатый пункт: "Должны вы при именном показании бессовестные поступки доказать?" Ответ: "Причитал все бессовестные поступки к графу Остерману, графу Головину, князю Александру Куракину, а прямо бессовестных поступков за Остерманом, Головиным, Куракиным и за другими не знает, написал с злобы мнением своим".

Двенадцатый пункт: "При подавании того письма рассуждали ли вы о важности такой вашей продерзости - самовластной своей государыне подобные учения и наставления подать, кой и малолетним едва ли пристойны быть могли?" Ответ: признает вину свою и просит прощения.

Тринадцатый пункт: "Вы дерзнули в самых тех покоях, в коих его высококняжеская светлость владеющий герцог курляндский пребывание свое иметь изволит, явные насильства производить, людей бить и силою оттуда выталкивать, то имеете отвечать, для чего вы то учинить дерзнули?" Ответ: признает себя виновна и просит прощения.

Когда Волынский отвечал на пункты и члены комиссии сказали ему, чтоб ехал домой, то он начал говорить: "Пожалуйте, окончайте поскорее". На это Румянцев сказал ему: "Мы заседанию своему время без вас знаем; надобно вам совесть свою во всем очистить и ответственность с изъяснением, не так, что кроме надлежащего ответственности постороннее в генеральных терминах говоришь, и для того приди в чувство и ответствуй о всем обстоятельно". На другой день допросы продолжались; Волынский

говорил: "Вчерашнего числа, как по него прислали, состоял он в немалом страхе, что куды быть велено и для чего - не ведал, и как прибыл, увидал, что собранный суд в знатных и во многих персонах состоит, то рассудил за важность и был в робости". Комиссия на это сказала ему, чтоб не плодил постороннего, что к делу его не принадлежит, но отвечал о чем спросят. Тогда Волынский обратился к Неплюеву. "Ведаю, - сказал он, - что вы графа Остермана креатура и что со мною имели вы ссору, пожалуйста оставьте". Неплюев отвечал, что напрасно излишнее он плодит и партикулярной ссоры он, Неплюев, с ним не имел и не бранивался. Волынский стал жаловаться, что "горячести и дерзновения его пришли ему от графа Остермана, что все с ним поступал скрытно и такой он человек, что никому без закрытия ничего не объявит, и жене своей без закрытия не скажет". Тут Неплюев прервал его: "О таких делах, в каковых граф Остерман обращается, жене и ведать непристойно, и сам о том можешь рассудить".

В третьем заседании комиссии, 17 апреля, Волынский говорил, что "все делал он по злобе на графа Остермана, Куракина и Головина и поступал все против их, думал, что был министр, и мыслил, что он был высокоумен, а ныне видит, что от глупости своей все врал с злобы своей". При этих словах он становился на колена и кланялся. Чернышев сказал ему: "Все ты говоришь плутовски, как и наперед сего по прежним своим делам так же ты в ответах скрывал и беспамятством своим отговаривался, но как в плутовстве обличен, то и повинную принес". Волынский отвечал на это: "Не поступай со мною сурово: ведаю я, что ты таков же горяч, как и я, деток ты имеешь, воздаст господь деткам твоим!" Волынский продолжал жаловаться на свою горячность: "О какая беда, что сам на себя наврал; надеялся на свое перо, что писать горазд, и все на то горячность меня привела!" Жаловался на Бирона, который сказал ему, чтоб подал письмо государыне. Припомнил, как однажды князь Куракин пришел к ее величеству пьяный; государыня сказала: что ты, Куракин, пьян? а Куракин ей доносил, что пьянство напустил на него Волынский.

Волынский недолго ограничивался жалобами на Бирона, Остермана, Куракина и Головина; стал признаваться, что позволял себе дерзкие отзывы о самой императрице, но все ограничивалось одними словами. "Злого намерения и умысла, чтоб себя сделать государем, я подлинно не имел", - утверждал Волынский. Но этому показанию не поверили. 22 мая он был поднят на дыбу и пытан полчаса, было ему 8 ударов; с пытки говорил то же. Все, что мог еще припомнить, - это то, что хвалил житье польских панов, которые никого не боятся. Ему говорили: "Сам он знает, в каких злодейственных словах и рассуждениях против ее величества погрешил, то б и о прочих своих умыслах повинную принес, яко то без наижесточайшего истязания оставить не можно, ибо сам он ведает, что токмо за неснимание полицейскими служителями, идучи мимо двора его, шапок не оставил им того просто, но мучимы были жестокими побоями". Волынский ни в чем не признавался; было ему 18 ударов, и с пыток не

сказал ничего нового. Кроме признания в словах выпытать ничего не могли; из дел еще до пыток Волынский признался во взятках: брал с купцов парчами, обьярью, тафтами; московские питейные компанейщики подарили ему две тысячи рублей, Моисей Рагузинский - тысячу да дал без расписки займы две тысячи; Демидова зять Федор Владимиров подарил ему тысячу рублей. Это взял он, будучи кабинет-министром. Из казны брал деньги, но возвращал; карлу Ерохина определил в Конюшенной канцелярии с жалованьем по 50 рублей в год, а держал при себе для своих партикулярных услуг, а что в Казани взял взятку около 6 или 7 тысяч рублей, в том государыне повинился и получил прощение.

27 июня Волынскому отсекали руку и голову; Еропкину и Хрущову также отсекали головы; Соймонова, Суда и Эйхлера били кнутом и сослали в Сибирь на каторжную работу.

Кто после этого мог решиться оскорбить его высококняжескую светлость владеющего герцога курляндского? Кто мог осмелиться сказать, что герцог приносит русские интересы в жертву своим интересам? Несмотря на то, владеющий герцог курляндский не был спокоен: гибель Волынского была торжеством для Бирона, но еще большим торжеством для Остермана, а Остерман был опаснее Волынского для Бирона; он был тем более опасен, что его нельзя было поймать на *горячести*, как Волынского. И Бирон никак не хочет, чтоб Остерман по-прежнему оставался душою Кабинета особенно когда и тело Кабинета, князь Черкасский, вследствие признаний Волынского оказывался вовсе не доброжелательным. Потребность для Бирона иметь в Кабинете совершенно своего человека была теперь сильнее, чем когда-либо, вследствие болезненного состояния императрицы и открытой вражды герцога курляндского с Анною Леопольдовною и ее мужем. И вот Бирон нашел человека, на верность которого мог положиться: то был Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Мы видели печальное положение Алексея Петровича в начале царствования Анны, его опалу, перевод из Копенгагена в Гамбург, но мы видели также, как он воспользовался доносом Красного-Милашевича на князя Александра Черкасского, повез доносчика в Петербург и здесь успел заявить Бирону всю свою преданность. Следствием было то, что Алексея Петровича снова перевели в Копенгаген, а после падения Волынского вызвали в Петербург и назначили кабинет-министром. Это назначение последовало в крещение предполагаемого наследника престола, внука императрицы от Анны Леопольдовны, Иоанна Антоновича. Разрешение Анны Леопольдовны сыном нанесло Бирону сильный удар: он стал так задумчив, что никто не смел к нему подойти. Тем нужнее был для него в Кабинете Бестужев, на которого он мог вполне положиться: новый кабинет-министр не мог сблизиться с Остерманом по заклятой ненависти Бестужевых к последнему; не мог сблизиться с Черкасским, который видел в Алексее Петровиче виновника бесчестия фамилии, виновника ссылки князя Александра Черкасского.

Случай, когда Бирону понадобилась преданность Бестужева, не замедлил. 5 октября 1740 года императрице за обедом сделалось очень дурно. Ездовой поскакал к обер-гофмаршалу Левенвольду: его светлость герцог просит во дворец. Левенвольд отправился немедленно и нашел Бирона в сильном волнении. "Императрице трудно: что делать?" "Я не знаю, - отвечал растерявшийся Левенвольд, - надобно позвать министров". За министрами послали, но первый кабинет-министр оракул Остерман болен, да если бы и здоров был, то, по всем вероятностям, не приехал бы, притворившись больным. "Ступайте к Остерману", - сказал Бирон Левенвольду. Тот поехал и возвратился с неприятным для герцога ответом: оракул объявил, что прежде всего надобно думать о наследстве престола, и если быть наследником малолетнему принцу Иоанну, то матери его, Анне Леопольдовне, надобно быть правительницею, и при ней быть совету, в котором может присутствовать и герцог. "Какой тут совет! - сказал в сердцах Бирон. - Сколько голов, столько разных мыслей будет". В это время доложили, что приехали Черкасский и Бестужев. Бирон вышел к ним и начал говорить: "Императрица в превеликом страхе от болезни, я предлагал ей объявить наследницею племянницу свою принцессу Анну, но она на мое представление не согласилась; говорит, что не только наследницею и правительницею принцессу Анну не объявит и слышать о том не хочет, а изволит наследником определить внука своего, которому при крещении его оное обещать изволила. О том, кому правительство поручить, надобно подумать". Но как двоим кабинет-министрам думать без Остермана, который назывался первым кабинет-министром? Черкасский и Бестужев поехали к Остерману в одной карете и дорогою начали рассуждать о том, кому быть регентом. "Больше некому быть, кроме герцога курляндского, потому что он в русских делах искусен", - сказал Черкасский. Бестужев, разумеется, не противоречил. Но с Остерманом этот вопрос было не так легко решить. У Остермана было порешено насчет манифеста о наследовании престола Иоанну Антоновичу, но когда дошло дело до регентства, то оракул прекратил рассуждения, сказавши: "Это дело не другое, торопиться не надобно, надобно подумать".

Остерман по своему обыкновению не хотел явно вдаваться в опасный вопрос; пусть решат его другие, а он уже сумеет приладиться к обстоятельствам. Возвратившись к Бирону, Черкасский и Бестужев нашли у него Левенвольда и Миниха. Начался опять разговор о регентстве. Миних отошел в сторону, чтоб не быть принужденным высказаться преждевременно, но Бирон подозвал его: "Слышите, граф, что говорят господа министры о правительстве?" "Нет, не слыхал", - отвечал Миних. "Они говорят, - продолжал Бирон, - что не хотят сделать так, как в Польше, чтоб многие персоны в совете сидели". Тут Бестужев решился произнести роковые слова: "Кроме вашей светлости, некому быть регентом". И вдруг ему стало страшно, и начал он, как обыкновенно делается в подобных случаях, заминать сказанное, возражать самому себе или для того, чтоб заставить забыть свои слова, или вызвать других к их подтверждению, набрать соучастников. "Разумеется, - начал Бестужев по-немецки, - в

других государствах странно покажется, что обошли отца и мать императора". "Правда, не без ненависти будет в других государствах, ежели обойти отца и мать", - проговорил Бирон, находившийся в одинаковом положении с Бестужевым. В это время Черкасский начал шептать на ухо Левенвольду. "Что вы шепчете, говорите громко!" - сказал ему тот, и Черкасский начал вслух представлять о необходимости избрания Бирона в регенты. Тут Миних уже не мог отстать от других. Дело пошло. Чтоб поднять Бирона, начали унижать его соперников, представлять, какая беда была бы для России, если бы принцесса Анна Леопольдовна была назначена правительницею. "Отец ее, герцог мекленбургский, поссорит Россию с императорским римским двором, - говорил Миних, - а о характере его известно, что за человек. Если сюда приедет, то всем головы перерубит. А муж принцессы принц Антон был со мною в двух кампаниях: только я еще не знаю, рыба он или мясо".

Но этими толками ничего еще не было решено. Положили собраться на другой день выслушать манифест о назначении наследником принца Иоанна и снова посоветоваться о регентстве; сочли нужным призвать к этому совещанию и других знатнейших людей. Бестужев распорядился последним делом, и его потом обвиняли, что он призвал очень немногих. На другой день приехали во дворец генерал Ушаков, генерал-прокурор князь Никита Трубецкой, князь Куракин и нашли уже там Черкасского, Бестужева, Миниха, которые поспешили объявить им, в чем дело: "Наследником провозглашается малолетний принц Иоанн, но его мать, принцессу Анну, императрица никак не хочет назначить правительницею: так кому же править? Ежели ее и в-ства соизволение будет герцога регентом определить, то по близости герцогства его осторожнее и правее будет в правлении государственным поступать, и отчет должен дать. Ежели же быть правительницею принцессе Анне, то опасно: ее родитель относительно земель своих находится в великом беспокойстве; чтоб не стал домогаться Российское государство привести в войну, понеже он человек горячий и стараться будет генералиссимусом быть, а ежели принца Антона брауншвейгского, мужа принцессы, к тому принять, то опасаться надобно, чтоб он не совсем отдался в диспозицию венского двора; к тому и о нраве его неизвестно, а нрав герцога курляндского все знают". Слыша эти речи от людей, так высоко поставленных, застигнутые врасплох, без возможности подумать, сговориться, присутствующие, разумеется, могли только изъявить свое полное согласие. Бирон вышел, объявил о слабом здоровье императрицы и о том, что она не хочет назначать правительницею племянницу свою, и получил в ответ, что в таком случае, кроме его, герцога, быть регентом некому. Для соблюдения приличия Бирон стал отговариваться; тут со всех сторон просьбы, уверения, что все почтут своим долгом помогать ему при исполнении столь многотрудной обязанности.

Много было обнаружено горячего усердия к его светлости, но дело было еще далеко до окончания: нужно было согласие умирающей Анны, но как его получить? Когда императрице поднесен был для подписания манифест

о назначении принца Иоанна наследником и когда все подписавшие бумагу, кроме Бирона, выходили из спальни, Миних остановился и, держась за ручку двери, решился сказать больной: "Милостивая императрица! Мы согласились, чтоб герцогу быть нашим регентом; мы просим о том подданнейше". Больная ничего не отвечала и, когда Миних вышел, спросила у Бирона, что такое говорил фельдмаршал? Бирон не решился повторить слов Миниха и отвечал, что сам ничего не слышал.

Миних просил за Бирона. Немцам вообще было важно, чтоб на первых порах власть осталась в руках одного из них. Барон Менгден прибегает к Бестужеву и откровенно объявляет: "Если герцог регентом не будет, то мы, немцы, все пропадем! А ведь герцогу самому о себе просить нельзя; так нельзя ли об этом как-нибудь стороною просить ее величество?" Бестужев хотя не был немцем, однако тоже боялся пропасть, если герцог регентом не будет. Бестужев сильно хлопочет, сидит ночь, пишет определение о регентстве Бирона для поднесения императрице к подписи. Бумага внесена в спальню к больной, но лежит там покойно, дело нейдет в ход. Бестужев пишет челобитную от лица всех вельмож, объявивших свое согласие на регентство Бирона, Миних первый ее подписывает, но и эта бумага остается без движения. Бестужев сочиняет *позитивную декларацию* и лист, "якобы вся нация герцога регентом, желает". "Трудное дело, - думает сочинитель, - снабдить декларацию подписями, Сенат и Синод ничего не знают, но все равно: те, которые подписали прежнюю челобитную, подпишут и декларацию, а на них смотря, и Синод, и Сенат подписать не отрекутся". Наконец, девять тяжелых дней прошли: 16 октября императрица подписала назначение Бирона регентом и 17 скончалась; врачи причиною смерти объявили подагру в соединении с каменною болезнию.